

Сергей Магид

DICHTUNG UND WILDHEIT

Комментарий к стихотворениям 1963–1990 гг.



Сергей Магид

Dichtung und Wildheit.
Комментарий к
стихотворениям 1963–1990 гг.

«Водолей»

2014

Магид С.

Dichtung und Wildheit. Комментарий к стихотворениям 1963–1990 гг. / С. Магид — «Водолей», 2014

Сергей Магид (р. 1947 г., Ленинград), в 1970–80-е гг. печатался в самиздате. В 1981–1988 гг. входил в ленинградское неформальное объединение поэтов, прозаиков и переводчиков «Клуб-81». В 1985–1990 гг. принимал участие в подготовке создания Ленинградского Народного фронта. В 1990 г. уехал из СССР. Живет в Праге. Комментарий к стихотворениям это комментарий к жизни. Комментарий субъективный, пристрастный, предвзятый, несправедливый, – как и сама жизнь. В свою очередь, жизнь человека, пишущего стихи, превращается постепенно в комментарий к его стихам. Всё вместе – жизнь, стихи, комментарий к жизни, комментарий к стихам – стало содержанием этой книги. История, здесь рассказанная, начинается в 1965 г., когда автору исполнилось 18 лет и он ощутил, что жизнь кончится смертью и с этим надо что-то делать, и завершается в 1990 г., когда из всех ощущений у автора остались только два: изумление и гнев. Всё, что было в промежутке, было заполнено стихами, которые оправдывали жизнь, придавая ей смысл, – и жизнью, которая ощупью передвигалась от стиха к стиху, как от смысла к смыслу, пока эти смыслы не исчерпали себя.

© Магид С., 2014

© Водолей, 2014

Содержание

| | |
|--|----|
| I. Гулливер в стране... | 7 |
| II. Наш дурак | 10 |
| III. Стропило | 31 |
| Вовк | 37 |
| Сцена 1 | 37 |
| Сцена 2 | 45 |
| Сцена 3 | 53 |
| Эпилог в третьем лице за отсутствием первого | 59 |
| IV. Скрибер | 61 |
| Дитя | 61 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 62 |

Сергей Магид

Dichtung und Wildheit. Комментарий к стихотворениям 1963–1990 гг.¹

В работе над Комментарием мне помогли своими комментариями Игорь Адамацкий, Леонид Аронзон, Иосиф Бродский, Чарльз Буковски, Кирилл Бутырин, Константин Вагинов, вовк, Дмитрий Волчек, Вуди Гаррельсон, Фридрих Гёльдерлин, Владимир Глазунов, Аркадий Драгомощенко, Александр Жидков, Сергей Завьялов, Борис Иванов, Михаил Иоссель, э.э. каммингс, Альбер Камю, Джон Китс, Евгений Кольчужкин, Стивен Крейн, Виктор Кривулин, Владимир Кучерявкин, Филипп Ларкин, Мэтью Макконахи, Осип Манделштам, Фридрих Ницше, Егор Оболдуев, Александр Пушкин, Виктор Раткевич, Жан-Поль Сартр, Ян Сатуновский, Союз приблизительно равных, Сергей Стратановский, Ральф Файнс, Мартин Хайдеггер, Эрнест Хемингуэй, Сергей Хренов, Пауль Целан, Уильям Шекспир и Мария. Всем лордам и миледи приношу глубокую благодарность за влияния и воздействия, за отталкивание и поддержку, за любовь и ненависть, за терпение и нетерпимость. Всем живым – счастья в пределах разумного, всем мёртвым – удачной кармы.

...Брел Третьяковский через Неву, льдами вздыбленную, и было ему до слез обидно. Он ли грамматик не составитель? Он ли од торжественных не слагатель?.. Так что ж вы, людишки, меня-то, как собаку бездомную, по кускам рвете? Тому не так. Этому не эдак. И любая гнида учит, как надо писать...

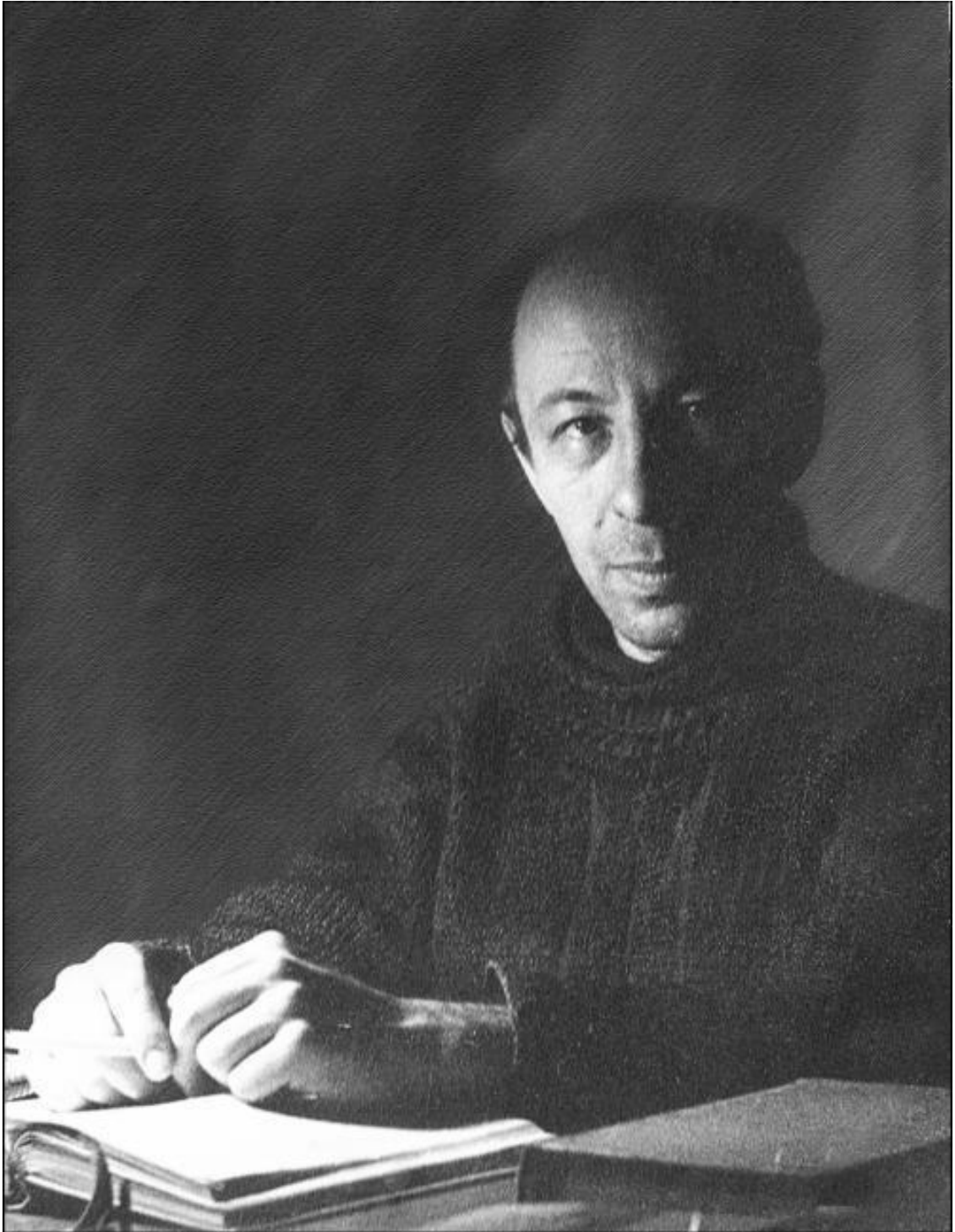
В. С. Пикуль. «Императрикс» – слово звериное

© С. Магид, 2014

© О. Сетринд, 2014

© Издательство «Водолей», 2014

* * *



Сергей Магид, сторож, 1984 г. Ленинград, остров Голодай. Фотография Виктора Раткевича

I. Гулливер в стране...

*This will never end
'Cause I want more.
More, give me more,
Give me more.*

***Fever Ray (Karin Dreijer Andersson)
If I Had A Heart***

*Это никогда не кончится,
Потому что я хочу больше.
Больше, дай мне больше,
Дай мне больше.*

***Февер Рэй (Карин Дрейер Андерссон)
Если бы у меня было сердце***

*The foot feels the foot, when it feels the ground. (Нога чувствует себя
ногой, когда чувствует землю.)
Американская поговорка*

Много лет я старался о них не думать.
Много лет я думал о них, но не хотел их знать.
Много лет я знал, что они существуют, но не хотел о них слышать.
Много лет я только о них и слышал.
И вот теперь, в довершение ко всем моим мукам, мне еще надо о них писать.
А я ведь с ними расстался навсегда.
Отряхнув прах со своих кед.
Потому что ботинки носили они.
А я носил кеды.

Кеды я носил потому, что ботинки моего размера они не производили на своих обувных фабриках.

Это было нерентабельно.

Ну сколько могло быть таких Гулливеров как я? Раз-два и обчелся.

Поэтому я носил кеды.

Весной, летом и осенью.

А особенно зимой – потому что зимой идти в них было легко и ходить надо было быстро.

Пока нога еще чувствовала землю.

Да, это правильно: рассказывая о проблемах роста, в том числе и поэтического, если таковой, конечно, был, надо всегда начинать с обуви, с того, в чём ноги по земле ходят.

Так вот, сижу я как-то раз на лавке в зале ожидания Балтийского вокзала. А по залу ожидания прохаживается великан-с-ноготок и как раз внимательно поглядывает всем на ноги. Что-то он выискивает в этом зале, кого-то он там вынюхивает, какую-то он исполняет важную ихнюю работёнку. Подходит, конечно, и ко мне, останавливается, смотрит и говорит:

«Ты что», говорит, «зимой кеды-то носишь, а?»

«Ни фиги себе!», говорю, «а что?»

«А то», говорит, «что я вот тебя сейчас в милицию сдам».

«Да ну?», говорю, «это за что же?»

«А ты мне вот скажешь щас как на духу, что ты вообще здесь делаешь или...», говорит великан-с-ноготок, плюгавенький такой великанчик, филёр, попка, сексот, петух недоопущенный.

«Что или?», говорю, «я сижу в зале ожидания, потому что сейчас зима и на улице холодно, и жду здесь поезд из Вильнюса, которым должна приехать моя жена».

«Ага», говорит, «значит, и жена у тебя есть».

«Есть», говорю, и жду, что еще он такого скажет, чтоб у меня была причина его убить. Теоретически.

«Ладно», говорит, «жди жену, раз она у тебя пока есть», и удаляется, поспешая, вроде бы как в сортир.

Конечно, я мог встать и свалить оттуда, от греха подальше, но с чего бы стал я это делать? Виноват я был в чём? Вызывающе себя вел? Одет был неприлично? Нет, вел я себя как рядовой законопослушный гражданин в зале ожидания вокзала, построенном для того, чтобы люди в нем занимались ожиданием поезда, чем я и занимался тихо-мирно, но великан этот с ноготок определил моментально собачьим своим нюхом, что я – не их.

И вот возвращается он через пять минут в компании мента.

Мент высок, красив, в элегантном полушубке и с пушкой на боку, а не с завтраком в кобуре. И, конечно, изысканно вежлив, не то что во времена Большого Террора, поскольку времена наши – вегетарианские.

«Документики попрошу».

«Какие», говорю, «документики. Документики дома, а я здесь поезда жду».

«Тогда пройдемте, гражданин».

«А вы мне скажете, наконец, в чем дело?», говорю.

«Пройдемте, гражданин», говорит мент устало. «И не бузите тут».

И вот все они поворачивают ко мне свои рыбки, как в рассказе Чехова, морды, все они вперяются в меня своими сонными буркалами, весь этот долбаный зал ожидания на этом долбаном вокзале в этой долбаной колыбели их долбаной революции и тщательно содят себе в грядку памяти, как бузотера в кедах уводят стражи порядка в отделение за... Да какая разница, за что. Там знают, за что.

В тот раз я отделался трёшкой штрафа за отказ предъявить документы представителю власти и мягким выговором за то, что не ношу с собой паспорт, а также настойчивым пожеланием катиться с ихнего вокзала как можно дальше, так, на всякий случай, профилактики ради.

И я, конечно, пошел, но, естественно, не с вокзала, а на перрон номер семь, куда подходил поезд из Вильнюса.

Ну что поделаешь, прожил я на Святой Руси 43 года.

Из них 27 лет, – с большими или меньшими перерывами, – сочинял поэзию, – или мне казалось, что поэзию.

За эти 27 лет в официальной русской печати один раз было опубликовано шесть моих стихотворений.

Это немало, если считать, что, скажем, у Саши Морева их было при жизни в той же печати опубликовано тоже шесть, у Аронсона – пять (из них одно – в Ташкенте), а у Роальда Манделъштама – вообще ни одного.

Диктатор в фильме «Покаяние», – а этим фильмом, как нам тогда казалось, были открыты все двери, – куда? – оказалось, в никуда, – во время своих бесконечных монологов по-грузински задаёт всё время один и тот же возмущённый вопрос по-русски: «Рази это наррр-мальна?» Подразумевая, что, нет, мол, ненормально *это*, и он, диктатор, *такое положение дел* исправит.

Но мы-то с вами не диктаторы и поэтому мы-то знаем: на Руси *это* нормально и поэтому исправить здесь ничего нельзя.

II. Наш дурак

*They fuck you up, your mum and dad.
They may not mean to, but they do.
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you.*

*But they were fucked up in their turn
By fools in old-style hats and coats,
Who half the time were sappy-stern
And half at one another's throats.*

*Man hands on misery to man.
It deepens like a coastal shelf.
Get out as early as you can,
And don't have any kids yourself.*

Philip Larkin

*Тебя сношает вся родня,
Не замечая, но гурьбой, —
Все комплексы свои в тебя
Вдолбив, и сверху – первый твой.*

*А их сношали их отцы,
Все эти дурни в котелках, —
Когда смиреннее овцы,
Когда с дубиной в руках,*

*Мелея в бедах, как река,
И мель в пустыню обратив...
Линяй отсюда, жив пока,
Ещё детей не наплодив.*

*Филип Ларкин
Перевёл Стропило*

Когда я сочинил первое стихотворение, я не знал, что его можно кому-то прочесть. Мне это не пришло в голову. Я его написал для себя и для себя повторял.

Потом стали появляться еще стихотворения, это была тайна, а тайной хотелось поделиться. Иначе какая же это тайна, какой в ней тогда смысл. Я решил поделиться с матерью («кто тебе может быть ближе?», спрашивала она).

Мать реагировала очень профессионально, – т. е. как вполне подкованный советский критик.

«Объясни, пожалуйста», говорила она мне, «почему всё у тебя в твоих стихах в таком мрачном свете? Откуда такой пессимизм? Всем ты недоволен, на всё ты жалуешься. Тебе что, не нравится советская власть? Мало она для тебя сделала? Где ты вообще набрался таких настроений?» (вариант: «Где ты такого нахватался?»).

Я не знал, что на это ответить. Дело было не в том, что я скрывал от матери какие-то свои тайные источники информации, какие-то там страшные *libri prohibiti*, которые можно было читать только в тёмном углу, вдали от школьного коллектива. Нет, я не знал, что ответить, потому что не мог понять, почему естественный процесс познания определяется такими уничтожительными, презрительными выражениями, – «набрался», «нахватался»?

Потом мне стало ясно, что именно так в сознании моей матушки отражается идеологическая политика государства: ни мать, ни государство не могли принять тот факт, что человек что-то и о чем-то думает... сам. Они и представить себе не могли, чтобы этот процесс пробежал не по спущенному сверху плану, а по собственной воле гражданина.

Позже мать всё же такую возможность допустила, но ей не стало от этого легче. Всё происходящее с сыном она объяснила для себя как можно лаконичнее и до конца жизни: «наш дурак». Или, в лучшем случае, «а наш дурак-то, а?»

И правильно, был дурак, потому что продолжал совершать дурацкие ошибки. От отчаяния и одиночества, как в «ситуации имени Манделъштама в воронежской телефонной будке», кричал свои стихи родственникам по отцу и по матери на празднованиях их дней рождений, на их рабочих и свадебных юбилеях, на их семейных выпивках по поводу их советских торжеств, ноябрьских и майских, на день их конституции, день их женщин, день их армии и их флота, и даже в ночь единственного их несоветского праздника, – на Новый год, омрачая его оптимистическую устремленность в светлое будущее своим постыдным нытьём.

«Совести у тебя нет», говорила двоюродная тётка по матери, «советская власть платит за твоё обучение, а ты вот так, походя, никого не спрашивая, позволяешь себе такие рассужденьца».

«Мало ты говна в жизни съел», говорил двоюродный брат по отцу, «повкалывал бы сначала как я, попахал бы с моё, а потом бы подумал, заниматься этим своим хныканьем или нет».

«Ишь, ходит тут в свитере, бороду наклеил, как Достоевский, в подполье слинял, умным себя считает», говорил муж двоюродной сестры по прабабке, «а в башке-то – гниль».

Простой и очевидный факт, что человек может мыслить собственной головой, для большинства судей обоёго пола, встреченных мною в жизни, являлся чем-то неприличным. У них то, что не общее, что своё, – то, в лучшем случае, было «парадоксальным», «шокирующим», «дурацким», «безумным» (привет от Чаадаева П. Я.), а в худшем, они просто молчали, как будто твоей мысли никогда и не было, а значит, не было и тебя.

Летом 1990 г., написав свой последний на Руси интимный текст², в котором читателям на обсуждение были представлены пять определяющих принципов демократического социализма, и предложив его в самиздатский политологический журнал, я вновь столкнулся с точно такой же, привычной уже для меня реакцией: редактор из антикоммунистического полуподполья недоверчиво покрутил головой и спросил с упрёком в голосе: «Откуда ты взял эти свои определяющие принципы?»

«Да ниоткуда я их не брал», сказал я. «В себе самом я это понял, понимаешь?! Давай об этом дискутировать, но не спрашивай меня, у кого и на какой странице я об этом прочитал».

Как сказал Яков Друскин: «Я жизнь свою продумал, а мысли пережил».

Но времени объяснять это редактору у меня уже не было.

Весьма критически к моим опусам относились не только родственники, но и школьные друзья.

В 11-м классе (17 лет) записываю в дневник:

² Какая Россия нам нужна? // Демократия и мы. 1990. № 14.

«3 ноября 1964 г., вторник. На обществоведении накатал стихотворение, в котором изложил свои мысли:

Вечер спустился на город.
Улицы скрыла мгла.
Лишь фонарей ореолы
Будут мерцать до утра.

Я выхожу на Невский,
В неоновый свет погружась.
Рекламы сверкают весело
В зеркало-небо глядясь.

Засунув руки в карманы,
Бреду я медленно вдаль
И вижу книгу в тумане, —
«Как закалялась сталь»!

Книга пылится в витрине,
Глядит на меня в упор.
Эх, Павка, Павка, скажи мне,
Как мне решить этот спор?

Спор этот гложет душу,
Жжет уже третий год.
Павка, меня послушай,
А время пусть подождет.
Знал ты, за что бороться,
Что делать, как надо жить,
Но время твое не вернется,
Как же теперь мне быть?

Нет у меня идеи
И идеалов нет,
Нет у меня стремлений,
Плевал я на целый свет!

Я одинокий, Павка,
Не знаю, что делать мне
Ведь жизнь – это просто лавка,
Где всё – по большой цене.

Мне всё надоело, Павка,
Мне просто противно жить,
Ведь в этой паршивой лавке
Счастье нельзя купить.

Ты шел до последнего вздоха,
Ты знал, что в «завтра» твой дом,

А мне вот чертовски плохо
Жить в этом «завтра» твоём.

Вокруг проплывают люди,
Лица мимо плывут,
Найдутся ли где-нибудь судьи,
Чтоб всех их призвать на суд?

Ты, Павка, жизнь эту делал,
Мы в этой жизни живем,
Но если б взглянуть сумел ты
На лица со всех сторон.

О, ты бы увидел сразу
Как равнодушны они,
Какие тупые взгляды,
Как лица испиты, бледны.

Трудятся все ради денег,
Ведь каждому – по труду!
Счастье таким не изменит,
Рубль не даст в беду!

Кругом всё продажно и гнило.
Да разве же можно так жить?
Скажи ты мне, Павка, милый,
За что ты умер, скажи?

Но книга молчит на витрине,
И я, как в футляре, молчу
И, снова не понят, отныне
уже ничего не хочу.

Что надо еще-то народу?
Все сыты, при бабах и водке.
Один я иду по городу,
Упрямство в моей походке.

Послал Кингу. А он мне: "Писать так – мало того что глупо, – просто некрасиво. Ты, а не они ограничены узким мирком. Ты, а не они ничего не видишь вокруг себя. Для того, чтобы не быть в тесном кругу, надо его расширить, и главный выход – это то, чего ты не любишь, что считаешь ненужным, это активное участие в общественной жизни. Ты пишешь этот стих, основываясь лишь на своих впечатлениях. Как они малы и убоги. Чтоб это написать, надо знать жизнь, знать людей. Только после того, как ты узнаешь жизнь, ты будешь иметь право писать и стихи будут иметь право на существование. А теперь вот так, не зная никого и ничего, обливать всё грязью, это, мягко выражаясь, нетактично"».

Конечно, отзыв Кинга это не отзыв Валерия Брюсова на потенциально «ненужные безделушки» Цветаевой и не реакция Зинаиды Гиппиус на пришедшего без приглашения

«жидёнка» Мандельштама, но тоже рецензия. Первая письменная рецензия на мою поэтическую работу, в которой эта работа прямо определена как «грязь».

Одиночество, может, до добра и не доводит, но зато приводит к счастью познания. Это счастье состоит в том, что постепенно начинаешь понимать суть происходящего, – с тобой, с другими, со всем, что вокруг. Начинаешь *видеть*. А выше этого счастья – понимать и видеть – никакого другого нет.

Но этот вид одиночества неразрывно связан с изгнанием.

Изгнание началось, когда я впервые узнал от школьной уборщицы, что живу, оказывается, не дома, а в гостях. Хозяева же в этом доме, где я только гость, – дорогие люди, которые называются «русские». В самом звучании этого слова уже слышны мягкость и широта. Русские простодушны и добры и все на свете их обманывают. А гости в этом доме, – все нерусские, которые обижают русских, а некоторые прямо на русских висят, как пиявки, и пьют их кровь. И вот к этим повисшим и пьющим, которые называются очень противным на слух словом «евреи», отношусь и я.

Понять этого я никак не мог, поскольку пил в основном рыбий жир, который был совершенно отвратителен как на вид, так и на вкус.

И вот когда я привожу этот аргумент, вот тут-то я и попадаюсь в капкан: а русские дети в нищих русских деревушках, – возражает мне мой интеллектуальный оппонент, – они в эти годы видели рыбий жир?

Не видели.

Или видели очень редко.

А я видел рыбий жир каждый день.

И не только видел, но и пил.

Кто же я после этого, если не пиявка?

Эта логика напоминает лом. Она говорит о заговоре, злых умыслах, паразитизме и умении устраиваться.

Но есть логика ключа, которая говорит о другом. Она говорит о том, что в результате повторяемости в течение сотен лет по всей Европе, включая Россию, законов, запрещающих моим предкам жить в деревнях, мои предки стали традиционно городскими обитателями. Не от хорошей жизни, ведь до этого они были и скотоводами, и земледельцами, но потому что не было выбора.

А то население моей родины, которому не запрещалось жить в деревнях, в них и жило. Долго и счастливо.

В городах же, как известно, издавна существуют аптеки. В этих аптеках иногда продается рыбий жир.

Но в деревнях, как правило, аптек нет. И поэтому нет рыбьего жира. Когда деревенский ребенок заболевает, его лечат лесными травами и парным молоком.

Я, конечно, тоже мог заявить протест в 1947–1954 гг. в Ленинграде: где знахарские травы и молоко прямо из-под коровки? Почему у деревенских они есть, а у нас, городских, их нет?

Но это была бы логика лома. Мои же предки всегда предпочитали логику ключа. Поэтому я этот идиотский вопрос не задавал и не задаю.

Но и меня не надо спрашивать, почему это я в детстве имел возможность пить рыбий жир.

Однако меня спрашивали и продолжают спрашивать, хотя и другими словами. И все о том же. И все в той же логике лома. А против лома, как известно, нет приёма.

Окромя другого лома.

Этим другим ломом моя матушка владела в совершенстве: когда я, пребывая в полной растерянности, вопрошал её, как быть, если я пиявка, она, естественно, отвечала, что только «наш дурак» может обращать внимание на каких-то там школьных уборщиц, и что умный мальчик так вести себя ни за что не станет.

Таким образом, проблема заматеревшего расизма переводилась в проблему зыбкого коэффициента интеллекта и этим снималась. Т. е. оказывалось, что конкретно такой проблемы нет вообще. А есть лишь проблема дураков и умных. А это проблема вечная, интернациональная и весьма относительная. И мы, в нашей семье, как мудрые люди, мы это понимаем. И в соответствии с этим себя ведем. Так что не будь дурак, а будь умный.

Но я был дурак и дураком, видимо, остался.

Чем более я взрослел и, очевидно, глупел, тем более возрастало вокруг число людей, разделявших взгляды моей школьной уборщицы, – причём в том самом виде, в котором она мне их изложила зимой 1954/55 учебного года; их смысл ничуть философски не корректировался; их стилистика ничуть литературно не совершенствовалась; как их *идеи*, так и их лексика всегда оставались всё на том же уровне, – на уровне истрёпанной швабры и ведра с грязной водой.

Между тем, в число людей, разделяющих взгляды уборщицы, постепенно входило и всё остальное население Отечества, его рабочие, крестьяне, инженеры, писатели, поэты, историки, математики, литературные критики, кандидаты и доктора наук, заведующие кафедрами, деканы факультетов, члены-корреспонденты и члены Политбюро, а также девчонки, которых я любил и которые любили меня, пока дело не доходило до уточнения взглядов всё той же уборщицы. Наконец, в число её убежденных последователей вошли почти все, кто жил дома вместе со мной и вокруг меня. Независимо от коэффициента их интеллекта. Независимо от того, дураки они были или умные. Как раз чаще всего они были умные и даже очень умные. Такие умные, что могли обосновать всё на свете и под любую кровь подвести теоретическую базу, не запачкав рук.

Между тем, изначальное самоощущение – к каким зверям ты по своему естеству принадлежишь – было чрезвычайно простым, чуть ли не материально-телесным. Ведь начиная с первого сказанного слова (у меня таким было слово «ёж»), и дальше, легко, без принуждения и насилия, ощущаешь всем своим *естеством*, – по запахам, вкусам, виду и положению окружающих вещей, мельчайшим колебаниям интонаций и даже воздуха, – кто ты, – русский, чукча, монгол или немец. Ощущаешь сначала именно своим естеством, не отдавая себе в этом отчёта, – и только потом начинаешь *осознавать*. Только потом подводишь под это своё самоощущение разные высокоумные теории, разные патриотизмы и национализмы.

Естеством своим я ощущал себя нормально, без патологии, т. е. *как все*. Как все – лет до семи-восьми – дома, во дворе, на улице, в младшем отряде пионерлагеря, – ощущал себя *своим*, – мягким, добрым, простодушным, справедливым и обязательно будущим солдатом самой непобедимой в мире армии, – короче, *русским*.

Но всё это было до «уборщицы», до тех только пор, пока на меня не посмотрели *взрослые*, пока они не обратили внимание на черты моего *лица*, пока не услышали, как звучит моя фамилия. А когда посмотрели, обратили и слышали, то сказали своим детям, что настоящее моё имя вовсе не Сергей-воробей-не-гоняй-голубей-голуби-боятся-на-крышу-салятся, а Магид-жид-по-веревочке-бежит, и соответственно с этой непонятной и противной фамилией ко мне и надо относиться, поскольку человек с такой фамилией к нашему тотему принадлежать не может.

Когда же я снова спросил мать, а потом отца, а потом деда, а потом всю свою семью, то мне сказали, что слова «еврей» и «жид» произносить дома не надо, что *оба* эти слова *нехорошие*, потому что употребляются в качестве *оскорбления* и что наш дурак должен зарубить

себе на носу, что в нашем доме эти слова вслух не говорят, потому что в нашем доме живут *приличные люди*.

И действительно, вслух эти слова никогда в доме не произносились, но каждый день произносились про себя. Эту раздвоенность моих родных и друзей моих родных в царстве тотального страха я почувствовал очень рано и потом всю жизнь пытался это понять и сказать об этом.

Во всём была шизофрения и всё способствовало шизофрении. Расколотые инфантильные души взрослых, воспитанные *общей для всех* русской культурой, дробили своей большой неправдой ещё цельные души детей, а те дробили души друг другу.

Эта традиция шизофрении не могла меня не коснуться, её нельзя было избежать. Конкретно она заключалась в том, что *естеством* своим я ощущал себя *как все*, т. е. добрым, отважным, великодушным, честным и русским, а в *символическом* плане, в сфере *языка*, должен был осознавать себя совсем другим и *отдельным*, – злым, лживым, жадным, трусливым и евреем.

Но естество не хотело подчиняться буквам чужих слов, внутренняя сущность противилась извне навязываемому явлению и моя душа тоже начала дробиться и раскалываться. Пока много позже Вовк не превратил её в камень.

На разных этапах жизни я по-разному боролся с этой всепоглощающей шизофренией, шизофренией уже не в масштабе двора и дома, а в масштабе Родины, пока не пришел к выводу, что всё, что происходит со мной и другими, – проблема и «тема» вовсе не «национальная» и тем более не «еврейская», а чисто социальная и в этом виде, – проблема культуры как таковой; культура же, в которой оказался я вместе с другими, была русской, и стало быть, эта проблема и эта тема были русскими. И русскими остаются.

Вот почему «еврейской темы» в моей поэзии нет, как нет у меня ни «еврейской прозы», ни «еврейских стихов».

Еврейские стихи писал Хаим Нахман Бялик, еврейскую прозу – Ицхок Башевис-Зингер, я же только пытался понять вслух проблему шизофрении на Руси (да и в других местах) как социальное явление, пытался сказать о чувствах и реакциях человека, столкнувшегося с этим явлением лицом к лицу.

Я пытался сказать о человеке в пограничной ситуации, – т. е. буквально на границе всех самоидентификаций, на выходе из них *вообще*.

Мне кажется, что главная проблема, перед которой мы стоим, – истинная загадка Сфинкса, – возникает, когда человек обнаруживает себя на границе экзистенции и культуры, – и что дальше?

Это проблема самосознания личности, проблема ее выбора между тем, что она ощущает внутри себя, и тем, что ей навязывается извне.

Здесь *экзистенция* (мое безусловное естество) противостоит *культуре* (нашему условному договору), но не может без нее жить. Как это всегда и бывает в пограничье.

Поэт есть человек фронта.

Сознание поэта, самоощущение его, все реакции его суть реакции человека границы.

Поэт стоит лицом к *культуре*, т. е. лицом к *своему народу*, к народу *своего языка*, а за спиной у него – мир его экзистенции, мир его внутреннего одиночества, его подлинная Москва и ни шагу назад, потому что как только он сделает этот шаг, – он перестанет быть поэтом. И тогда «меж детей ничтожных мира» всех-всех ничтожней станет он.

Это *противостояние поэта и этнической культуры* может поверхностному взгляду показаться «парадоксальным» и «шокирующим».

Однако оно существует.

Две силы стоят здесь друг против друга, при этом взаимно друг друга поддерживая и подпитывая, – вот парадокс.

Одна из этих сил – поэзия. Поэзия как явление динамичной экзистенции, т. е. персональной истины в процессе становления. Архетипом такого становления является альпийская связка Авраам-Иисус, покидающая *одновременно* «родину в Уре» и «родственников в Назарете».

Другая из этих сил – культура. Культура как явление *всегда запаздывающего социума*, т. е. коллективного мифа в состоянии фиксации (в худшем случае – окостенения, тромбоза).

Чтобы выразить состояние *внеязыковой реальности* собственного естества, – т. е. той его *половины*, которая напрямую, без посредников, связана с вечным и безграничным Универсумом, – поэт вынужден пользоваться инструментарием культуры, ограниченной временными и пространственными границами.

Для поэта главным таким инструментом культуры является его родной язык.

Трагедия поэта в том, что этот его язык просто не в состоянии адекватно выразить реальность, обитающую вне возможности постижения её какой бы то ни было грамматикой.

«Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его». (Иов 19,27). Здесь «я сам», «мои глаза», – это то во мне, что глубже языка, глубже артикуляции, тогда как «глаза другого» – это взгляд социума, коллектива, рода, культуры, которые не могут увидеть Бога за меня, вместо меня.

Но еще большая трагедия самой поэзии как способа познания мира состоит в том, что будучи посредником между метафизическим и земным, – т. е. между *высшим сознанием*, которое пребывает *над, сверх и вне всякой этничности*, и конкретным *национальным менталитетом*, – она должна прибегать к помощи языка сугубо *этнического, национального*, всегда ограниченного, всегда узкого, эгоистичного, поверхностного, частного, фрагментарного, как бы «велик и могуч» он ни был.

«О той реальности, которую означают такие слова, как «Бог» или «вечная жизнь», мы не можем просто сказать, что она есть (или что её нет), поскольку вполне очевидно, что она не пребывает здесь тем способом, каким пребывают вещи внутри мира». (*Томаш Галик. Дереву остаётся надежда*)³.

Бродский говорил, что «язык это Бог».

Наоборот, язык это только человек.

Бог это то, что на своём неуклюжем языке человек пытается выразить.

Но языком Бога не скажешь, не выскажешь. Всякая поэзия есть только бесконечное и неосуществимое приближение к тому, что выразить нельзя. По крайней мере, средствами этнической культуры.

Хайдеггер говорил, что «язык – это дом Бытия».

Да, но только этнического бытия.

Другого бытия сам язык не знает, другого бытия в самом языке, как в логической системе данного этнического сознания, нет, потому что его нет в культуре. «Другое бытие» – на другой территории.

³ Tomáš Halík. Stromu zbývá naděje. Praha 2009.

То Бытие, которое имеет в виду Хайдеггер, как и «тот» Бог, которого имеет в виду Бродский, находятся пока ещё вне пределов чувственного и умственного восприятия обычного этнического человека, – всё восприятие которого выражено через язык.

Бытие, Бог, – это то, что пока в остатке, – после использования языка, это то, что остаётся в тишине, в молчании, возможно, в эхе, оседающем после высказанного в окружающем нас воздухе.

Бытие, Бог, – это послевкусие прочитанного, услышанного стиха, это лишь мелькания и эфемерные комбинации смыслов, возникающих между словами, между строками, между звуками, между их напряжениями, между их энергетическими потенциалами.

Не в звуках музыка – она
Во измененье образов заключена.
Ни О, ни А, ни звук иной
Ничто пред музыкой такой.
Читаешь книгу – вдруг поет
Необъяснимый хоровод...

Константин Вагинов (1899–1934)
Ленинград
1926

«Необъяснимый хоровод» – вот всё, что может язык.

Внеязыковая реальность за этим «хороводом» – это виноград, на существование которого язык лишь указывает, виноград, к которому тянется несчастный Тантал. Это виноград, к которому он, изголодавшийся веками, приближается на расстояние невыносимо притягательного аромата, на расстояние вскипающей во рту слюны, на расстояние дрожащего языка, на расстояние почти уже ощущаемого вкуса, ощущаемого укуса, и... – пустота... Снова цепи богов, – этничность! этническое сознание! этнический язык! этническая культура! – не дают мученику насытиться, насладиться едой, удовлетворить невыносимый голод.

Так мучает поэта язык его поэзии.

Свежий луг и теплый ветер
И шмели на стебельках.
Что мне делать в утра эти
С книгой пасмурной в руках?

Что бумажные страницы,
Если нынче я могу
Божьей грамоте учиться
На нескошенном лугу?

Тайной азбукой цветенья
Раскрывается трава...
Вот еще, еще мгновенье —
И пойму ее слова!

Лидия Алексеева (1909–1989)
Нью-Йорк
1959

Задача поэзии в пределе, в эволюционной перспективе, состоит в преодолении культуры, которая всегда этнична. Поэзия есть средство спасения экзистенции от культуры, сознания от самоидентификации – с чем бы то ни было. В конечном счете, спасения человека от рода, спасения «Я» от «Оно».

Проблемы и возможности этого спасения я пытался анализировать в некоторых своих поэтических текстах, в том числе и через игру с проблемами и возможностями субъекта, означенного местной этнической культурой в качестве «еврея».

В персональном случае моей кармы такой культурой оказалась русская, – это та сугубо локальная этническая культура, в которую я, человек, был в этот раз рождён.

Субъекта же моих поэтических текстов следует решительно отличать от русского еврея с самосознанием русского еврея, как и от современного израильянина с самосознанием израильянина, как и от любого иного еврея мира, сознающего и воспринимающего себя евреем. Идентификационные проблемы этих субъектов никогда не вызывали у меня особого интереса. С моей точки зрения, эти проблемы *рутинны и сиюминутны*, не в них тайна будущего.

Мне был интересен только тот, кто означен *в качестве*, кто рассматривается *как нечто*, кому навязывается *насильственная* идентификация, кто не является и *не желает быть* тем, кем его *принято* воспринимать. Мне кажется, что именно за этим странным существом – будущее. Будущее вне языков и культур.

Изгнание же всегда совершается в лоне культуры. Более того, оно и возможно до тех пор, пока существует культура. А поскольку культура (пока) может быть только этнической, то как и тот, кто приговаривает к «изгнанию», так и тот, кто уходит в «изгнание», – суть активные участники и *неизбежные жертвы* этой этнической культуры. Этноантропы, одним словом.

Меня всегда интересовало, каким образом этот этноантроп, этот «смертный жид», может *выйти из изгнания, как из стоячей воды*, может изменить свой удел, и может ли он вообще его изменить, – а ведь в изменении человеческого, земного, значит всегда *этнического* удела, и состоит тайна *Преображения* – в то состояние, в котором этнического уже нет, т. е., говоря прозрачным библейским языком, нет «ни эллина, ни иудея».

На протяжении многих лет, прожитых дома, я пытался ответить на этот вопрос, – сначала через первоначальное утверждение (т. е. через попытки самоидентификации):

я жив пока я жив пока я жид
который жизнь по-русски говорит...

Ленинград
1986

А потом через это же утверждение как вопрос:

я жив пока я жив пока я жид
который жизнь по-русски говорит?

Или я могу быть жив, т. е. *жить свою карму, идти по альпийской тропе Авраама-Иисуса* как-то иначе?

Ведь «я» здесь, – не просто и не только автор этих стихотворных строчек, но всякий человек, пытающийся перестать быть этноантропом, т. е. выйти за пределы этнической культуры. Например, в мир «*произведений, написанных без разрешения*». Где речь не идёт ни о литературе, ни о грамматике, а только о «пути всех вещей». Вот задача.

Предчувствие ухода родилось во мне уже в последних классах школы, когда всё «разрешённое» местной культурой стало казаться отвратительным.

* * *

Справа была кулинария, прямо – вход в ресторан «Москва» со швейцаром, а слева, за портьерами, – бар. Поскольку «Москва» была на втором этаже, бар неофициально назывался «Подмосковье». Стойка бара была покрыта черным стеклом. На белой кафельной стене были выложены красные петухи, которые отражались в стекле стойки. По-пьяни это смотрелось фантастически. Помню, что один свой роман тогдашнего периода я так и начал: «Красные петухи плавали в черном стекле». И так далее. Потом кулинария справа превратилась в «Сайгон». Мы тогда пошли в одиннадцатый класс. Последняя выдумка Никиты. Был сентябрь 1964 г. Жизнь стояла какая-то полуреальная. Нам было 17–18 лет. С одной стороны, надо было кончать школу и сдавать выпускные экзамены, с другой стороны, трехзвездчатый коньяк в обычном полуподвальном гастрономе на углу Марата и Разъезжей стоил 4 рэ 12 коп., пачка болгарских сигарет «Сьлнце» или «Руен» («Олень») – 10 коп. А еще продавали польскую махорку «Старт» за 8 коп. И чешские сигареты «Шарка», которые мы курили в переменку. В одиннадцатом классе я был перманентно пьян, иногда даже на уроках.



1963 г., 16 лет. Карельский перешеек

Советскую власть всерьез воспринимали единицы. Помню одну бедную комсомолку с первой парты, над которой все издевались. Тем не менее, когда прошел слух, что началась запись добровольцев в Северный Вьетнам, мы обсуждали эту возможность вполне всерьез. Но вместо Ханоя оказались в «Сайгоне». Хотя до этого еще был пивбар «У Фишера», о котором почему-то все забыли. А зря.

Для нас это была предсайгоновская эпоха. Пивбары стали снова открывать в Ленинграде, когда мы были классе в девятом. На Лиговке открыли «Хмель». В первые дни там к пиву давали раков и тараньку (воблы тогда уже не было, только у Витебского вокзала алкаши ино-

гда продавали тощие связки по 15 коп. на опохмелку). Потом стали ограничиваться солеными сушками. В «Хмеле», на углу Лиговки и Остропольского переулка, потом в пивбаре на Разъезжей у Пяти Углов, в гораздо позже открывшихся «Жигулях» на Владимирском проспекте мы дневали и ночевали. Позднее возникший «Сайгон» был для нас слишком рафинированным и походил на насест. Но ходили, конечно, и туда. В основном, поглазеть на высоколобых психов, над которыми подтрунивали. У психов были безумные глаза, беспокойные руки и сбивчивая, заикающаяся речь. Позже некоторые из них оказались моими коллегами по Клубу-81.

Как-то в «Сайгон» ввалился мужик в ватнике и мятых лыжных штанах, запроваженных в кирзовые сапоги. Из-за голенища у него торчала «Литературная газета». Окруженный высоколобыми психами, наливавшими ему водку в кружку с пивом, он наставительно вещал о ГУЛАГе, поднимая указующий перст, и говорил, что только что с вокзала и еще не знает, куда ему идти. Так я впервые увидел человека из повести Гроссмана «Всё течёт». Ни о Гроссмানে, ни об этой его повести я тогда, конечно, ничего не знал.

Мы были дворовой полу-шпаной и в то же время подражали битникам, – давали друг другу «американские» клички (Глэд, Кинг, Майкл, Кидд, Рейндж, Вин... – «Мы хотели быть американцами – в том смысле, что мы хотели быть индивидуалистами», как сказал Бродский), мы надевали грубые свитера на голое тело и носили туристские ботинки на толстой рубчатой подошве («берцы» тогда еще не существовали), да и родом мы были не из «города на Неве», а с Лиговки у Обводного канала (потому во мне так потом откликнулись стихи Стратановского, там наш канал цвёл и пах вовсю), из садика малолетних урок и шлюх между Загородным и Социалистической (где зарезали девчонку из нашего класса и где я впервые увидел двенадцатилетнюю давалку, обслуживавшую все окрестные дворы), с улицы Правды у «Лепешки» (Дома культуры работников пищевой промышленности, где, кажется, как-то читал стихи юный Бродский), из Предтеченского переулка, который на моих глазах стал Транспортным, и с бывшего ипподрома, на месте которого мы сами построили ТЮЗ (старшекласников гоняли туда подавать каменщикам кирпичи, – это называлось трудовым воспитанием). Нас никто не замечал, не принимал всерьез, но все поучали. А мы, если бы тогда знали, вполне могли бы спеть им песню из «Генералов песчаных карьеров», которая потом стала песней «Бригады», – «А я ваш брат, я человек...» Но до эпохи «братков» и «лохов», как естественной части популяции, было еще далеко, и поэтому мы становились просто дикорастущими романтиками.

Мой литературный романтизм исходил, конечно, из хэмовского «Праздника». Из «Праздника» я взял тогда одно, но для меня самое важное, – настоящий писатель пишет свои гениальные абзацы только в кафе. И я начал писать в кафе, барах и пивных. Вот почему мой главный тогдашний роман создавался в «Подмосковье». Но впечатления я собирал в пивбаре «У Фишера».

Не знаю, почему и от кого этот кабачок получил такое название и не помню, как он назывался официально. Располагался он в самом что ни на есть центре бывшего Санкт-Петербурга, а не где-нибудь на Лиговке, – на углу Невского и Екатерининского канала, напротив Казанского собора и плаката с изображением Ленина на стене ресторана «Кавказский», а на плакате было написано: «Верной дорогой идете, товарищи!» Это было, кажется, еще до «Сайгона» или совсем одновременно с началом «Сайгона» как кулинарии. Во всяком случае, «Сайгон» как «культовое место» еще не вошел в сознание, а к «Фишеру» ходил молодой Шемякин и ходил молодой Тюльпанов, и нас, выюношей, привечали там двадцатисемилетние старики-художники, а их женщины иногда по-матерински обнимали нас за плечи. Там склонялось много славных имен из совершенно неизвестной нам тогда отечественной философии, а также очень часто произносилось слово «Христос». Мы с Глэдом высокомерно и презрительно усмехались: вопрос Христа нам был ясен с пеленок. «Почему Вы думаете, что он существовал?» спросил

я после третьей кружки пива у тогдашней дамы Шемякина. «Мальчик», сказала она, «читайте Ренана».

Ренана у меня не было. Зато уже на подходе был экзистенциализм.

С экзистенциализмом я познакомился так же, как потом знакомился почти со всем в моей жизни, – через воспитательную работу тайной полиции: она вешала на меня этикетку с очередным – измом, а я пытался выяснить, что это значит.

Я не был идейным борцом. В гробу я видал идейную борьбу. Но всегда почему-то оказывался в стане идейных противников советской власти. Хотя был, пожалуй, её сторонником, считая, что мы, народ, сами себе хозяева. Я был социалистом на техасский лад. Свою нефтяную вышку я защищал бы с винчестером в руках как от государства, так и от акул-монополий. Такое у меня было понятие о социализме в середине шестидесятых.

Путь к знакомству с экзистенциализмом был мучительным, но само знакомство произошло мгновенно.

Кое-как окончив в 1965 г. одиннадцатилетку, я поступил на вечернее английское отделение филологического факультета Ленинградского университета имени А. А. Жданова (на дневном для *пиявочных евреев* была уже брежневская процентная норма). Кто такой Жданов, я знал с детства по рассказам отца. В 1939 г., когда отец вместе с остальными студентами Юридического института уходил добровольцем на финскую войну, Жданов их провожал и жал им руки. Рука у него тряслась, а из уголка рта текла слюна. Нам с отцом вообще везло на эпилептиков, представляющих власть.

Учась на вечернем, я должен был регулярно сдавать в деканат справки с места работы. Нельзя было в Советском Союзе просто, только учиться, – на вечернем, заочном, – позволяя себе нигде не работать. Вечерние отделения высших школ считались продолжением давних рабфаков, поэтому, чтобы учиться на факе, ты должен был снова и снова доказывать государству, что ты раб. Как *пиявочный еврей*, занявший в университете место, которое по праву должно было принадлежать русскому токарю, я, с помощью презиравших меня *еврейских родственников*, был по благу *устроен*.

Моей первой службой стал Институт метрологии имени деда Менделеева, где я числился лаборантом. Меня постоянно гоняли там либо на картошку в подшефный совхоз, либо на ночные дежурства в аккумуляторную, так что у меня была масса времени для раздумий. В этом *НИИ* произошли два события, которые определили мою последующую жизнь и, во многом, ранние виршеплетские попытки.

Осенью 1965 г., в возрасте 18 лет и 4 месяцев, на ночном дежурстве в аккумуляторной, я неожиданно обнаружил, что жизнь бессмысленна.

Жизнь бессмысленна по самой простой и очевидной причине: всё, что бы ты ни делал, кончится твоей смертью. Смертью каждого. Смертью всех.

Этого я не просто не мог понять, – я не мог этого вынести: надо было немедленно, в ту же секунду, кончать жизнь самоубийством. Зачем же было жить еще хоть на секунду дольше, если было совершенно ясно, что всё теперь ни к чему, – планы, мечты, надежды, ожидания, – всё это абсолютно бессмысленно, ведь что бы ты ни планировал, какие бы усилия ни предпринимал, всё кончится твоей смертью. Зачем же тогда делать то, что лишь предшествует ей? А предшествует ей всё, чем ты сейчас живёшь. Зачем же жить?

Естественно, что я не собирался советоваться по этому вопросу с родителями. Они закидали бы меня «нашим дураком» с головой, так что и следа бы не осталось. Опять за то, что «нахватался».

А я в процессе своих одиноких размышлений снова изобрёл велосипед, т. е. поставил перед собой вопрос, который одна из современных философских школ, – осенью 1965 г. я ещё не имел о ней ни малейшего представления, – считала главным вопросом философии: кончать жизнь самоубийством немедленно или подождать? А вовсе не вопрос о том, что первично, – бытие или сознание. Вот до каких глубин антисоветчины я додумался.

Короче, жизнь кончилась. Зачем жить, если незачем? А незачем, потому что жизнь конечна. Но если конечна, какая разница, когда наступит конец? Если всё равно конец. А если всё равно конец, то зачем что-то начинать? Ведь что бы ты ни начал, всё равно конец. Но если всё равно конец, тогда зачем было начало? Тогда зачем родился? Я что, просил, чтобы меня рождали? Почему я должен теперь отвечать за сексуальные игры моих родителей во имя продолжения их рода? Какого продолжения? Куда? За что?

В общем, сказка про белого бычка. Сказка человека без Бога. Тогда я этого, конечно, не понимал. Тем более тяжело смотреть мне на этого человека теперь. Но таков был путь. Такова была его тяжесть. Такова была его глупость.

Эти «сёстры тяжесть и глупость» мучили не одного меня. Мой знакомый подошел к проблеме более решительно, прямо с античным стоицизмом. В день своего двадцатипятилетия он выпил бутылку водки, в разгар празднования включил на кухне газ во всех четырех конфорках, не зажигая пламени, уселся сверху в позу лотоса и постепенно уснул. В оставленной записке было написано: «Сегодня мне исполняется 25 лет. Это старость. Зачем?». Римский способ, думал я и втайне восхищался.

Ощущением абсолютной бессмысленности жизни и хождением по её краю над притягивающей пропастью самоубийства как логического выбора я мучился с осени 1965 до весны 1966. Представлял в гробу лица моих родителей и друзей. Не понимал, зачем мне жить, но боялся убить себя. Однажды, когда жажда смерти стала невыносимой, я пришел к Глэду и спросил его, как лучшего друга, что мне делать. «Повесься», – сказал Глэд.

В конце апреля 1966 г. произошло второе событие, мистически связанное с первым, т. е. с обнаружением бессмысленности жизни. Связанное потому, что через него я пришел к выходу из положения, узнав, как бессмысленности жизни следует противостоять.

Что это было в конце апреля я запомнил, потому что на вопрос представителя райкома комсомола о том, сколько мне лет, ответил тогда, что мне 18 лет и 10 месяцев.

В тот день районные комсомольские орлы решили устроить в НИИ деда Менделеева добровольно-принудительную дискуссию на тему «Что такое счастье?» Тема вообще типичная для шестидесятых с их физиками, которые старались перещеголять лириков. Типичное такое развлечение вегетарианской геологической эпохи. Такой уже маразмизирующий антропоцен. Дискуссию проводили партком, профком, местком и, видимо, комитет госбезопасности.

Народу нагнали полный актовый зал. Я сидел в самом заднем ряду и играл в карманные шахматы с инженером Проценко. Инженер был ловцом юных душ, и я об этом догадывался. Он усиленно обхаживал нас с Глэдом и даже приглашал к себе домой. Мы только не могли ещё понять: он «внутренний эмигрант» или «педик» (термина «гей» мы тогда не знали).

В течение, наверное, полутора часов с гаком заранее намеченные в выступавших гундо-сили в микрофон о том, как они счастливы строить коммунизм и разные химкомбинаты в тайге, как они счастливы быть со своим народом, как они счастливы быть советскими инженерами, как они счастливы быть, как они счастливы. Народ шумел, перекликался, травил анекдоты, играл в шахматы, читал книжки. Наконец митинг окончился, там, впереди, встал представитель райкома комсомола и спросил, не желает ли кто сказать заключительное слово. Из заранее не запланированных.

Я понял это как веление совести и призыв эпохи и, не в силах выдержать лицемерие, ханжество и хамелеонство выступавших, потопал к микрофону. Зал протестующе загудел, потому что все давно уже хотели домой. Но когда я начал говорить, наступила мертвая тишина.

«Все, что говорилось перед этим, – абсолютное вранье», сказал я. «Ничему не верьте. Счастье – это одиночество. Это когда человек сам по себе и свободен от массы. Это когда он делает то, что сам полагает нужным, а не то, что диктует ему толпа. Счастье – это когда люди не лицемерят, когда они могут без страха говорить правду. Счастье состоит вовсе не в том, чтобы строить коммунизм, как тут доказывалось в течение часа и сорока минут, а в том, чтобы быть одному и в этом качестве быть верным только себе, а не какой-то там псевдосоциалистической Родине».

И так далее, в том же духе тех же шестидесятых лет и немножко лорда Байрона, т. е. задолго до постмодернизма.

Всё это я сообщал изумленному коллективу, парткому, профкому, местному и, очевидно, комитету госбезопасности довольно спокойно. Теперь я так спокойно говорить не умею.

В зале было так тихо, что я слышал, как скрипит стул под ёрзающим представителем комсомола.

Зато, когда я окончил свои романтические излияния, народ разразился бурными аплодисментами, переходящими в продолжительные овации. Кто-то свистел в исступлении, кто-то топал ногами, в общем куда там Вознесенскому или Евтушенко с их вечерами в Политехническом.

Тут снова встал представитель райкома комсомола и спросил, сколько мне лет. 18 лет и 10 месяцев, сказал я, не догадываясь о том, что вот на такой бы срок он бы и послал меня, куда Макар телят не гонял, будь его воля.

Но тут поднялся весь митинг промолчавший мужичок, который там сидел рядом с представителем комсомола, и в зале почему-то снова стало очень тихо. До сих пор не знаю, кто это был: продвинутый гэбэшник или почитывающий запрещенную литературу секретарь райкома по идеологии (и значит, в общем, тоже из того же комитета), но его выступление повлияло в итоге на мою жизнь почище проповеди какого-нибудь славного пастыря.

«Молодой человек», сказал он, «является носителем буржуазной и антикоммунистической философии, которая называется экзистенциализм. Её представители в Германии – фашисты Хайдеггер и Ясперс, во Франции – ревизионисты Сартр и Камю, в России это были белогвардейские эмигранты Бердяев и Шестов». Слово с горы Синай было сказано.

Прибежав вечером к Глэду, я взхлеб повторял впервые услышанные имена наших будущих идолов и тщетно пытался выговорить слово «экзистенциализм».

Время было, повторяю, ещё на редкость вегетарианское. Последний, может быть, глоток вегетарианского времени. За публичную пропаганду доселе неизвестного мне «экзистенциализма» мне *не было ни-че-во*.

Это был год, когда ещё можно было найти у букинистов и по сравнительно недорогой цене приобрести Ницше, Шопенгауэра, Виндельбанда, Куно Фишера, Н. О. Лосского, Фрейда, Гамсуна, Мережковского...

Именно тогда я собрал свою первую философскую и поэтическую библиотеку.

В ней были «Самопознание» Бердяева, «Апофеоз беспочвенности» Шестова, «Едиственный» Макса Штирнера, «Страх и трепет» Кьеркегора, «Заратустра» Ницше, «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра, «Тотем и табу» Фрейда, несколько «Историй философии» в переводе с немецкого, «эфиопские» и «корсарские» стихи Николая Гумилева и изданная в Америке антология чернокожих поэтов мира, начинавшаяся с Пушкина.

Мой бывший одноклассник работал тогда библиотекарем в Педагогическом институте имени Герцена. Это был второй источник нашего самообразования: он таскал домой поэзию из спецхрана и, будучи первоклассным фотографом, лепил самиздат на фотобумаге. Предпочитал

почему-то женщин: Цветаеву и особенно Ахматову. Бродил по Питеру и бормотал: «Я на твой порог – поперёк...»

Потом только до нас дошло, что ведь Ахматова в начале того года ещё была жива (мы были младше «ахматовских сирот» Бродского, Наймана, Рейна и Бобышева на семь лет, тогда это было как бы разрывом в несколько поколений, теперь это ничто, общая старость), но нам казалось, что Ахматова приходит к нам из той поры, которая давно исчезла из памяти людей: нас эта пора, думали мы, во всяком случае не касается.

Мы не могли тогда понять, что это время всё еще длится (или скорее стоит, как кол в заборе), что все мы в истории, а не вне её, что история не только не кончается, но и не движется, она всегда на месте, всегда одна и та же, меняются только слова для обозначения одних и тех же человеческих чувств, идей, переживаний, поступков. Меняется язык, но не глубинная суть событий, в которых участвуют люди. Глубинная суть всегда одна – путь. Почти не ощущаемый, почти не видимый.

В отличие от тех, кто теперь говорит, что всех нас в ту пору мучали коммунизм, тоталитаризм, развитой социализм, КГБ и прочие ужасы, я должен сказать, что нас мучили тогда гораздо более страшные и осязаемые вещи, совсем не зависящие от политического и социально-экономического строя: смысл жизни, неизбежность смерти, причины и цели творчества.

Женя Янжул, мой пропавший друг, писавший мне в письмах: «Здравствуй, Адриан Леверкюн», читал нам свои стихи:

И ты уйдешь. Упав, остынув.
Вот жизни суть.
У каждого есть свой Мартынов
и выстрел в грудь.

Между тем, благая весть была сообщена, спасительное слово «экзистенциализм» произнесено, – не то агентом спецслужб, не то партийным идеологом, неважно.

Так ведь и Пушкин говорил в своё время, что единственный у нас в стране европеец – это наше правительство⁴. Это оно нас просвещает. В основном через свою тайную полицию.

На следующий же день я помчался по библиотекам и книжным магазинам и, – Бог всё видит! – тут же обнаружил в Академкниге на Литейном только что вышедшую антологию под названием «Современный экзистенциализм»⁵. А потом рассказывайте, что мистики не существуют!

С этой книгой под мышкой, – и чуть ли не благодаря ей, – я и ушел в армию.

В 1966 г. экзистенциализм стал моей религией. Моей верой, надеждой, любовью и матерью их Софией, премудростью Божьей. В экзистенциализме я тогда обрёл спасение.

Вот эта книга.

Она прошла со мной три года армии и сорок лет блуждания в пустыне.

В ней 563 страницы.

Это, возможно, лебединая песня Оттепели, попытка в последний момент, пока ещё окончательно не завили гайки, сообщить русскому читателю о современном состоянии мировой мысли, в конечном счете, о тех «произведениях мировой литературы», которые написаны и продолжают писаться «без разрешения», но главное – о том, как дальше жить: «что значит

⁴ Письмо к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г., перевод с французского.

⁵ *Современный экзистенциализм*. Критические очерки // Редакционная коллегия: Л. Н. Митрохин, А. Г. Мысливченко, Т. И. Ойзерман. М.: «Мысль», 1966.

быть самим собой, как мы должны пользоваться нашей свободой, как мы можем сохранить мужество перед лицом смерти», – ну, это уже цитата из предисловия.

Итак, современный экзистенциализм. 1966 год. Несколько выдержек и обобщенных выводов из книги [в квадратных скобках] и пара моих нынешних замечаний:

[Смысл не имеет никакого отношения к жизненной реальности, которая принципиально неразумна и поэтому бессмысленна]. -Отчаяние, сомнение – это нормально, понял я. Это естественное состояние человеческого сознания. И в то же время это как раз и есть точка отсчета. Дно, на которое ты упал, это всего лишь место, от которого надо оттолкнуться, чтобы снова подняться на поверхность. Но делать это надо быстрее, – потому что под всяким дном есть ещё большая глубина – отчаяния, сомнения, страха. По принципу, который отметил Станислав Ежи Лец: «Когда я дошел до дна, снизу постучали».

[Речь идет о подлинном отчаянии, т. е. возникающем не из-за отдельных жизненных лишений, а в связи с общим метафизическим чувством]. —

Это «общее метафизическое чувство» отчаяния есть чувство несправедливости Вселенной и жизни в ней, которая кончается не только личной смертью, но и конечным распадом самой Вселенной, – такое отчаяние является стартовой площадкой для мужества, для вызова абсурду. Под таким углом зрения абсурд становится нормой, а мужество перед лицом смерти – естественным способом жить. Мужество, таким образом, становится онтологической категорией, условием бытия. Эта идея меня совершенно заорожила. Где же еще можно было проверить мужество как онтологическую категорию, если не в тюрьме или в армии? Армия казалась мне более романтическим выбором.

[Задача человека заключается в том, чтобы, находясь в мире враждебного абсурда, найти путь к подлинной жизни, к истинному существованию. – Существование человека расщепляется на подлинное и неподлинное. Подлинное и неподлинное существования резко противостоят друг другу. – Подлинное существование человека есть его экзистенция, т. е. внутренняя свобода, стремящаяся себя проявить, саморефлексия, внутреннее переживание, возможность спрашивать самого себя и делать собственный выбор в мире бессмысленности и абсурда]. —

Цель и суть этого выбора – мужественное принятие своего удела. Когда мужественно принимаешь свой абсурдный удел, – прекращаются всякие вопросы, проблемы и недоумения. Чего уж тут недоумевать, если абсурд – это нормально? Вся суть в том, что тебя ничто не может удивить. Замечательная позиция в 18 лет.

[Неподлинное существование это жизнь человека как члена общества]. —

Это жизнь человека в составе коллектива, роя, – будь то нация, партия или семья вкупе со всеми родственниками. Жизнь с ними и тем более для них – вот неподлинное существование. А также университет и учеба в нем. Жить надо одному в тайге на берегу озера, подальше от железной дороги и промышленной охотой. Ну и писать бессмертные книги. Так я понимал подлинную жизнь в 1966 г., читая сборник «Современный экзистенциализм».

[В неподлинном мире, т. е. в мире любого коллектива, господствует толпа, «Оно», «Das Man», общественное мнение, формой проявления которого в повседневной жизни выступают пустословие, недоброжелательное любопытство, двусмысленность, безответственность, пошлость. – Человек в толпе рассматривается как предмет. Но «я» – это не вещь, не предмет, а свобода, возможность осуществления самого себя, своей экзистенции. – Экзистенция есть внутреннее соотношение индивида с самим собой]. —

Принципами этого внутреннего соотношения вполне могут быть пушкинские «покой и воля» или православные «непамятозлобие и бодрствование», или «недеяние», или «благоговение перед жизнью», или «безупречность и борьба с чувством собственной важности», или «страх Божий», – всё, что угодно, главное, – чтобы это было действительно твоё, внутреннее, переживаемое глубоко и со всей отдачей, чтобы это было для тебя тем, что Дон Хуан называл «путём сердца», т. е. чтобы этот путь гармонически соответствовал твоей собственной сущности вплоть до мельчайших деталей твоей повседневной жизни.

[Внутренняя душевная жизнь индивида принадлежит лишь ему одному, и никакая история не может коснуться этой области. – Каждый человек является в сущности экзистенциалистом, и если он этого не сознаёт, то лишь потому, что не прислушивается к своему экзистенциальному «я», оставаясь во власти своего внешнего отчужденного бытия, которое есть не существование, а бегство от него, побуждаемое страхом перед самим собой. – Общественная жизнь человека, сколь бы ни была она значительной и плодотворной и какое бы удовлетворение она ему ни доставляла, ни в малейшей степени не снимает мучительности его страданий, хотя и создает видимость этого снятия, в которой пытается найти себе убежище человек. – Цель и смысл человеческой жизни – вопреки всем диссонансам и противоречиям мира сохранить и утвердить себя как личность, т. е. как самобытного, неповторимого и незаменимого человека. – Человек творит себя из ничего. Человек «брошен в мир» без сущности. Он сам ее создает в процессе своего существования. – Человек есть всегда становление: то, что раньше было лишь возможным, потенциальным, – реализуется, становится действительностью, подлинной жизнью. – Человек не может быть то свободным, то рабом. Он или всегда и целиком свободен, или его нет вовсе. – Человек борется за себя сам. – Быть свободным, – значит быть самим собой. – Существовать – значит свободно выбирать свою сущность, становиться собой, подняться до уровня личности. – В конце концов «быть» – значит выбирать себя.] —

Мир, т. е. коллектив, «Оно», старается превратить человека в вещь, чтобы он не «был», а только «казался». Это ведет к деперсонализации человека, к его превращению в предмет, которым можно манипулировать как угодно, особенно в целях коллектива, толпы, абстрактного всеобщего.

[Единственный способ принадлежать самому себе – это не отождествлять себя с замкнутой системой детерминированных интересов, но утвердить самого себя как творческую возможность, как мыслящее и свободное существо.] —

Еще раз хочу напомнить: вот этот текст открыто опубликован в 1966 г. в СССР, в сверхзамкнутой системе сверхдетерминированных интересов, где всё было сделано и каждый день делалось для того, чтобы человек НЕ утвердил самого себя как творческую возможность, НЕ утвердил себя как мыслящее и свободное существо! Куда же смотрела цензура? Кто дал «добро»? Может быть, коллеги того гэбэшника, курировавшего дискуссию о счастье в ленинградском НИИ, который сообщил публике, что я – экзистенциалист? Вот загадка для исследователей жизни «совка». А может быть «совок» на самом деле вовсе и не был таким «совком», каким его теперь изображают?

[Выбирая себя, я созидаю мир. – Человек, осужденный быть свободным, несет всю тяжесть мира на своих плечах: он ответствен за мир и самого себя как за определенный способ бытия. – Мы ответственны за то, ЧЕМ мы являемся. – Каждая ситуация есть МОЯ ситуация, потому что она является отражением моего свободного выбора. Поэтому в жизни нет случайностей. Ни одно общественное событие, возникшее внезапно и увлекшее меня, не приходит извне: если я мобилизован на войну, эта война есть МОЯ война, я виновен в ней и я ее заслуживаю. Я ее заслуживаю прежде всего потому, что мог бы всегда уклониться от нее

– стать дезертиром или покончить с собой. Если я этого не сделал, значит, я ее выбрал, стал ее соучастником.]

С «войной» всё вообще совпало совершенно мистически. В 1968 г. я не стал дезертиром и не покончил с собой. Поэтому несу ответственность. Хотя теперь интерпретирую эти события совершенно иначе, чем делал это тогда, в 68-м, исполненный ненависти к своим и презрения к чужим.

Теперь я ясно вижу историческую безответственность и тех и других, комплекс мученичества и жертвы на одной стороне и упрямое топтание на месте, – в традиции Единой Поднебесной до последнего моря, – на другой.

Но ни от «комплекса», ни от «топтания на месте» не отступить, не отойти ни на шаг, и бесполезно обвинять, бесполезно искать виновного, бесполезно становится на одну сторону, как бесполезно становится и на другую.

Этническая история – это боль, но боль постепенно пройдёт, – даже если её пока культивируют сознательно *мазохисты* всех оттенков.

Боль пройдёт и абсурд обернётся смыслом, и отчаяние станет странным и ненужным...

Тогда будут только новое небо и новая земля.

Предположим?

Сегодня, бегло пролистав порядка трёхсот страниц своей бывшей «библии», я страшно устал.

Я устал от ощущения той невероятной богооставленности, в состоянии которой находится большинство представленных в этой книге экзистенциалистских авторов (за исключением католической их ветви); устал от их метафизической, трансцендентной беспочвенности, от их «заброшенности», – но не в мир естественной повседневной жизни, из которой только и вырастает жизнь вечная, а в океан испуганного человеческого, слишком человеческого сознания, где не видно и следа спасательных шлюпок Бога.

Дай покой, Господи, душам их, как Ты дал моей, и дай всем нам волю...

Тем не менее тогда, в 1966 г., это было богатством.

Кладом на необитаемом острове.

Подумать только, что богатством этим, этим тогдашним моим спасением я был обязан, в конечном счёте, неизвестному гэбэшнику-интеллектуалу из секции тонкой идейной пропаганды и контрпропаганды. Ведь это он крестил меня в апреле 1966 года в мою юношескую религию.

Коллектив НИИ ещё неделю гуськом шел в лабораторию, где я возился у токарного станка, и жал герою руку. На что герой спесиво говорил: «Ведь я же сказал: счастье – это когда ты один».

«Ну это Вы уже перегибаете палку», отвечали недовольные технари.

Больше «недовольных» не было, – за вражеское выступление на дискуссии о счастье меня *никто не наказал*.

Что говорить, Святая Русь, как это ей и положено, обладает женским характером, – одного швыряет в ссылку за безобидные частные стихи, другого не трогает даже за публичное антисоветское выступление.

Зато через восемь лет, в 1972 г. (когда бессмертный Чак Берри спел свою песню You Never Can Tell), реакция была уже по полной программе, – на этот раз меня выкинули из университета без малейшего промедления, – и за гораздо меньший грех, чем неверие в счастье строительства коммунизма.

Правда, и русская геологическая эпоха была уже не та: 1966-й был годом ссылки Бродского (как-никак, а всё же дома), а 1972-й – уже годом его высылки в никуда (и не давать ему дома ни огня, ни пищи, ни воды, ни крова, ни железа, ни жизни).

Кстати об эпохе.

Сейчас сложилось такое представление, что суд над тунеядцем Бродским был центральным событием русской жизни середины 1960-х гг.

Однако, например, ни мои одноклассники (11-й класс, вполне взрослые люди), ни я об этом процессе почти ничего не слышали.

Правда, моя матушка что-то там трендела за воскресным обедом о каком-то позорище с каким-то тунеядцем, но только в том смысле, что тунеядец этот был некоренной национальности и мог, таким образом, вызвать репрессии против остальных представителей этой же национальности (к 1965 г. уже всем в нашем доме, а не только мне, было наконец ясно, какой мы «национальности», поэтому о ней молчали ещё круче), так что трендение это постепенно, как, впрочем, бывало и всегда, превращалось в очередной предлог устроить «нашему дураку» превентивную взбучку, чтобы не трепал в школе языком, не болтал лишнего и вообще не высывался.

Поскольку в советских газетах я читал тогда только сообщения о хоккее, никакой другой информации о гонениях на гениального поэта у меня не было и я даже не предствлял, что живу в одном городе с естественным кандидатом на Нобелевку.

Однако стихи Бродского уже сидели в сознании, хотя я еще и не знал, что это стихи Бродского.

Уже осенью 1965 г. Клячкин пел на порванной в трех местах пленке моей «Астры»:

«Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. Увечны они и горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета...».

Этого было вполне достаточно, чтобы понять, что неизвестный автор этих стихов – гений (я сначала думал, что это сам Клячкин). Пилигримы, естественно, эти были мы. Это наши глаза были полны заката, а сердца полны рассвета. С этого мы начинали. С «вельтшмерц», с мировой скорби, с вселенского пессимизма.

И потом еще вот это, в кайф одиночеству:

«Ах, улыбнись, ах, улыбнись, вослед взмахни рукой, недалеко, за цинковой рекой, ах, улыбнись в оставленных домах, я различу на улицах твой взмах...».

Цинковая река была рядом, – Обводный канал у Каменного моста через Лиговку, у женского сумасшедшего дома, выкрашенного в желтый цвет, у послевоенных домов с выбитыми стеклами, с зияющими впадинами окон.

«Ах, улыбнись, ах, улыбнись, вослед взмахни рукой, когда на миг все люди замолчат, недалеко за цинковой рекой, твои шаги на целый мир звучат...»

Это мои шаги звучали на весь мир. Это вокруг меня молчали все люди. По обе стороны канала, вправо – к огромной краснокирпичной резиновой фабрике, влево – к железной дороге и песчаным карьерам с нефтяными озёрами за Московской товарной. «А я ваш брат, я человек...»

Живого поэта я увидел только на переломе 1969/1970 гг., а до этого общался лишь с мёртвыми. Общение с мёртвыми вообще интимнее, чем общение с живыми. Мёртвые это замечательная, неприхотливая компания и мне всегда было с ними легко. А с живыми – трудно.

С живыми было так трудно, что постепенно я начал воспринимать их как неживых, особенно в коридорах Ленинградского университета имени А. А. Жданова, сильно подозревая, что настоящие живые находятся где-то совсем в другом месте.

Это другое место я определил для себя в армии, в армии как таковой, не суть, как она называлась тогда и там, – US Navy, Deutsche Wehrmacht, Royal Air Force, ЦАХАЛ или Советская, она же просто русская. Речь шла о том, чтобы найти чистый экзистенциальный полигон для испытаний. Для испытания, во-первых, самого себя, а во-вторых, – на себе самом, – базовых положений немецкой, французской, русской, испанской и итальянской экзистенциальной философии.

Перед окончанием второго семестра 1966 г., – думая, что навсегда, – я оставил дом имени эпилептика Жданова А. А. и в сентябре того же года был естественным путём взят в Ракетные войска.

Правда, в связи с нестандартным ростом, мне светили тесные и сумрачные отсеки Подводного флота на четыре года; но я не прошел по зрению, – очкариков на желтые подводные лодки на брали.

Фашисты, ревизионисты и белогвардейцы Хайдеггер, Сартр, Шестов, сами того не подозревая, отправились вместе со мной. Нам предстоял длинный-длинный наряд вне очереди.

Я и понятия не имел, что в том же 1966 г., когда я бросился, как в омут с головой, в Советскую Армию – искать *покой и волю*, а также собственную поэзию, – Ян Сатуновский уже написал свой текст номер 436, в котором были такие замечательные смыслы:

Ммм, мmmm, мmmm-м,
mmm-mmm, мmmm, мmmm-м,
mmm-mmm, ммм, мmmmm-м...

К подобной простоте и полноте мне было ещё шагать и шагать. По плацу и в марш-бросках.

III. Стропило

*Для бешеной собаки три версты не крюк.
Русская пословица*

Русская армия полностью оправдала мои надежды как в качестве «места силы» (the place of power), так и в качестве «места без жалости» (the place of no pity), хотя в 1966–1969 гг. эти термины, введенные в культурный обиход Карлосом К., были мне, конечно, неизвестны. Дрессировку Дона Хуана Матуса в пустыне Сонора я, таким образом, проходил досрочно, самостоятельно и в теплой домашней обстановке Святой Руси.

Русская армия как хорошо продуманная система «мест без жалости» была набита «крупными, средними, малыми, мелкими и мельчайшими тиранами», и передвижение в этих местах требовало совершенного владения умением сталкинга. Я это понял довольно быстро, чуть ли не на второй день, хотя само слово «сталкинг» было мне тогда неизвестно. Но что для того, чтобы выжить, мне придется делать нечто отвратительное, – это я понял, и решил сразу, что делать этого не буду. Т. е. не буду стараться выжить *любой ценой*. А только той, которую сам изначально для себя установлю, а выше которой – пусть решает АК-47.

В армии я написал два своих главных юношеских текста: «Суд» и «Пятый легион». «Суд» подытоживал моё окончательное отношение к практике строительства коммунизма, а «Пятый легион» решал на тот период проблему самоидентификации.

Что касается «коммунизма», то именно в русской армии я окончательно понял, что идея замечательна, но воплотить ее в одной отдельно взятой стране нельзя, а можно только надорваться и угробить при этом уйму народа.



1966 г. Стропило клянётся защищать завоевания социализма



1968 г. Стропило с коллегами защищает завоевания социализма

Об этом своём открытии я сообщил замполиту ракетной бригады подполковнику Червогоненко по кличке Баба Настя, когда подполковник пришел измерять уровень идейной подготовки молодого бойца. После этого молодым бойцом незамедлительно занялся первый отдел

и началась рутина: меня под конвоем сопроводили в штаб, там на партсобрании офицерского корпуса бригады я был публично заклеен как «враг народа» (напомню читателю – не в 1937, а в 1967 г.!) и затем отправлен на губу «пожизненно» – ожидать передачи в руки гражданского суда для помещения в гражданскую тюрьму (а, собственно, за что? официального обвинения – как, впрочем, и официальной реабилитации – нет до сих пор).

Но командир бригады, полковник Батыев по кличке Нүкер, решил спасти жизнь «запутавшемуся интеллигенту», и я был отдан в распоряжение подполковника Кабанюка по кличке Хряк. Хряк, зам. комбрига по тылу, без промедления послал меня в бригадный свинарник кормить животных. Чем я и занялся, стараясь применить к делу наставления Камю о Сизифе и Сартра о тошноте. На этом наша теоретическая дискуссия о возможности построения коммунизма закончилась, перейдя в практический аспект.

Что же касается самоидентификации, то именно в русской армии 1966–1969 гг., где одни офицеры говорили, что «Гитлер был добрый, потому что еще не всех вас...», другие спрашивали, что такое этот «антисимизм», а третьи приказывали первым и вторым прекратить в вверенной им воинской части всякие разговорчики на национальную тему, иначе «вы у меня положите партбилет на стол» (и те, и другие, и третьи, естественно, были членами партии, ведущей всё население страны, без различия национальностей, к Царствию Небесному). В этой армии, насквозь пропитанной скрытой ненавистью фоняков к хохлам, хохлов и фоняков к чуркам, чурок, фоняков, хохлов и бульбаков к литвакам, чухне и гансам, гансов, чухны, бульбаков, хохлов, литваков и чурок к фонякам и, наконец, всех их вместе взятых, – к жидове, – именно в этой армии я понял, что первобытная этношизофрения, первобытная тотемная этнокультура в один воистину прекрасный день разорвет эту страну на сто несоставных частей, и ни с одной из них идентифицировать себя я не смогу да и не захочу.

В армии я продолжил, по мере сил, попытки прозы. Этими попытками я занимался с пяти лет, начиная всегда одинаково: Том первый, Книга первая, Часть первая, Глава первая, Лениздат, Госиздат, Детгиз. Но в этот раз я отверг подобные излишества и занялся производством коротких физиологических зарисовок из жизни русско-советского армейского быта.

Попытки мои были пресечены очень быстро. Капитан Жемчужный по кличке Абзец, получавший зарплату за отслеживание таких вот «писателей» в пределах дислокации гарнизона, регулярно устраивал шмон в моём скудном армейском имуществе, с торжеством швыряя очередную обнаруженную тетрадь с крамолой на пол и припечатывая ее сапогом и матом.

Но в один прекрасный день господину гауптштурмфюреру всё это надоело и он отдал мне замечательный приказ, который я потом в своей жизни слышал не однажды, но в завуалированной форме, да слышу, собственно говоря, и теперь: «Я вам запрещаю писать, рядовой, – запрещаю раз и навсегда!»



1967 г., армия, гарнизонная гауптвахта. Автор в качестве заключенного (в центре, с мундштуком)

Много лет спустя, во время горбачевских блужданий в лабиринте, Ленинград осчастливил своим возникновением клуб «Перестройка», где собралась советская служилая интеллигенция, взывавшая к обнаружению и сохранению «здоровых сил в Партии». На одно из собраний этого клуба были приглашены представители демократических групп города, в том числе ребята из «Демсоюза», а также Борис Иванов и я за Клуб-81. К тому времени я пришел к выводу о необходимости ликвидации и запрещения партии-государства, изначально являвшейся бандой экспроприаторов, осуществлявшей террор против собственного народа, и не скрывал своих взглядов. Сейчас я нахожу этот подход несколько радикальным, но для того времени он был совершенно естественным убеждением каждого порядочного человека, если он не совсем ещё обезумел за годы советской власти. В коридоре огромного здания на Петроградской стороне, где заседала «Перестройка», меня остановил *ручной еврей* Рамм из правления клуба и стал зловещим шепотом внушать истины гауптштурмфюрера Жемчужного, только употребляя другую лексику: «Какое несчастье, что вы вообще пишете! Перестанете вы наконец писать?! Вы же разлагаете своими писаниями наше движение!»

Дон Хуан Матус, встретив на какой-нибудь мексиканской асьенде капитана Жемчужного или образованца Рамма в качестве «тираните минималито», был бы рад как ребёнок... Не могу теперь вспомнить, был ли я тогда тоже рад как ребёнок, но приказ вышестоящего начальника, как и просьбу брата-интеллигента, я не выполнил.

* * *

Однако главные события моих полевых тренировок в русской армии были совсем другие, и было их тоже два, как и в НИИ, где я познакомился с бессмысленностью жизни и способом противостояния этой бессмысленности.

Первым событием было обретение ощущения полной обнаженности личного бытия. Это было ощущение приблизительно того, чему Джорджо Агамбен позднее дал строго философское определение «la nuda vita» – голая жизнь. Можно сказать и иначе – это было моё первое ощущение стояния перед Богом. Но я тогда этого не знал.

Сначала инстинктивно я почувствовал, а потом осознанно понял, что не располагаю ничем, кроме кожи и мозга. Что здесь проходит граница между мной и миром. Что я сам и есть эта граница. Что кроме кожи и мозга у меня нет больше ничего, что я мог бы назвать своим.

Это понимание и ощущение себя как абсолютно голого не только в физиологическом, но и в метафизическом плане, – а метафизически голый не может потерпеть никакого ущерба, поскольку не владеет ничем и не зависит ни от чего, – привело меня в состояние изумленной радости и полного внутреннего покоя.

С любовью и состраданием к кускам и спиногрызам я выполнял самые садистские их приказы, веселясь о том, что мучая меня, – думая, что мучая меня! – они находили для себя смысл существования.

В конечном счете они заметили, что что-то здесь не так, что салабон непрерывно весел, но не услужлив, работающ, но не заискивает, охотно драит очки, но ничего не боится, заботится о казённом, но думает, кажется, только о своём, и не прошло и трех месяцев, как меня раз и навсегда оставили в покое, а я продолжал жить так же, как жил, – радостно и думая о своём. Пока с целины не вернулся товарищ старший сержант.

Возвращение старшего сержанта стало вторым базовым событием, раз и навсегда переменившим моё сознание.

Вовк

Старший сержант Вовк был призван на действительную службу не в 19 лет, как все нормальные люди, а в 27, на самом пределе срока. Дома он оставил жену и был страшен. И, конечно, не Баба Настя и Хряк, и не гауптштурмфюрер Абзец, а спиногрыз Вовк был истинным тираном, согласно учению Дона Хуана Матуса, и абсолютным повелителем батареи связи, в которой я служил радистом.

Вовк был двухметров, лыс и носил галифе в обтяжку, так что ни у кого не было сомнений в том, что его жена с ним бесконечно счастлива и с нетерпением ждёт его после дембеля.

В отдельно взятой казарме 1133-й ракетной бригады Сухопутных войск СССР вовк царил точно так же, как на всей остальной территории Святой Руси – кафка, которую надо было, как известно, сделать былью.

Я всерьез готовился к испытаниям.

В личное время продолжал читать Камю и Сартра из своего уже зачитанного Краткого курса истории экзистенциализма.

Пока человек жив, для него ничего не потеряно, он есть свободное незавершённое существование.

Укреплял себя Хайдеггером.

Жизнь есть бытие-к-смерти, всё остальное – Sorge⁶.

В карауле, стоя на вышке 6-го поста у самой кромки девственного партизанского леса, будил спящие хвойные дебри, распевая афоризмы из «Заратустры» («Заратустру» купил в 1965 г. в букинистическом на Литейном за пять рублей). Афоризмы помнил наизусть.

Поистине, человек – это грязный поток.

Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.

Как же хотел бы ты возродиться, не обратившись сперва в пепел.

И т. д.

И поскольку моё дело вовсе не литература, а проблема Grenzsituation⁷, и по призванию я экзистенциолог, т. е. наблюдатель человека, как он есть сам перед собой внутри своей единственной жизни, переходящей в смерть, и поскольку только это и достойно изображения, я расскажу о вещах так, как они стали.

Сцена 1

Марций

Дерусь с одним тобой. Ты ненавистней

Мне, чем клятвопреступник.

Авфидий

Ты мне – также.

Гнусней мне ты, и злость твоя, и слава,

Чем африканский гад. Готовься к бою!

Марций

Пусть тот, кто дрогнет первым, будет проклят

И станет победителю рабом.

⁶ Sorge (нем.) – (зд. ненужная) забота.

⁷ Grenzsituation (нем.) – пограничная ситуация.

Авфидий Коль побегу, травы меня, как зайца.

(В. Шекспир. Кориолан. Акт I, Сцена 8 Перевод Ю. Корнеева)

«После ужина ко мне в каптерку», спокойно так, без всякой интонации.

«Есть, товарищ старший сержант!», отвечаю в той же манере.

Вопросы давно не задаю. Вопросы вслух задаёт только самоубийца. Солж, он когда описывал эти свои правила на зоне, все эти детские считалочки типа «не верь, не бойся, не проси» и тому подобное, не сказал о самом главном, а самое главное, не знаю, как на зоне, а в войсках, – не попадайся на глаза.

Первое правило устава: ни о чем не спрашивай.

Не спрашивай, когда что начнется или когда что кончится, не спрашивай, какой рубон сегодня дадут и дадут ли его вообще, ни в коем случае не спрашивай, что тебе делать и куда копать, а если скажут, куда, не спрашивай как, а если скажут, как, не спрашивай, чем, словом, не привлекай внимание к своей заднице.

А только смотри и слушай.

Поэтому ни о чём Вовка не спрашиваю, проявляю полное равнодушие к судьбе и в то же время полную к ней готовность. Т. е. действую в рамках amor fati⁸.

Это его задевает, по глазам вижу. Ведь каждого вовка видишь насквозь.

Взгляд у Вовка меняется. Становится ненавидящим. И моё «я» выигрывает. Потому что мой взгляд вовку в глаза остается никаким.

После ужина стучусь в каптерку. Сидит за столом, пишет рапорт, лысина блестит.

«В ваше распоряжение прибыл, товарищ старший сержант!»

«Натрёте помещение».

«Есть, товарищ старший сержант!»

Сегодня наша батарея не дежурит по отсеку и наряд вне очереди мне не объявлен. Но не спрашиваю, за что мне это. И так понятно: за то, что присутствую в наличии. А это значит, что действительно присутствую в наличии. И это славно. Присутствовать.

Поэтому с готовностью иду к шкафчику со швабрами, метлами, тёрками, щётками, ведрами и прочей мурой для уборщиц, т. е. нас же самих, и выбираю себе по ноге щётку с ремнем. Щётка на прямоугольной деревянной подошве, волосья у нее пучковатые, тугие и тёмно-красные как засохшая кровь. Закрываю шкафчик. Надеваю щётку на сапог, просовывая носок под ремень, двигаю там ногой, устраивая её поудобней, так, чтобы ремень не очень жал, но чтобы и не слетал каждые две минуты, встаю в стойку лыжника, делающего первый шаг, выдвигаю вперед левую ногу, ту, которая без щётки, и – правой – пошёл.

«Чтоб пол блестел как котовы яйца».

«Есть, товарищ старший сержант!»

«Как котовы яйца блестят, знаете?»

«Так точно, товарищ старший сержант!»

«Посмотрим».

«Так точно, товарищ старший сержант!»

Тру.

Так.

Что по этому поводу говорит нам синьор Никола Аббаньяно⁹?

Во-первых синьор говорит, что у человека всегда есть возможность возможности.

Т. е. всегда есть выбор существования на основе какой-то почвы.

⁸ Amor fati (лат.) – любовь к (своей) судьбе.

⁹ Аббаньяно, Никола (1901, Салерно – 1990, Милан), итальянский философ-экзистенциалист

Всё равно какой, но выбор есть.

Вот как скажешь «почва», так тут же выскакивает Шестов¹⁰.

А что Шестов, что Шестов?

А Шестову папаша не давал заниматься философией и гнал его в торгаши, как меня *ded* – в юристы, так что Шестов стал шизиком с раздвоением личности, одна его нога стояла на твёрдой земле, а другая проваливалась в никуда, это гораздо хуже, чем до блеска котовых яиц натирать дощатый пол в каптерке ракетной бригады русской армии, это гораздо, гораздо, гораздо хуже.

«Что там бормочете?»

«Ничего, товарищ старший сержант!»

«Чтоб я ни звука не слышал».

«Есть, товарищ старший сержант!»

Ладно.

Но выбор всё равно есть.

Должен быть.

Должен же быть какой-то выбор?

Аббаньяно говорит, что вот эта неясность, какой сделать выбор, это и есть наша свобода, в этом-то все мы и одинаковы, на этой неясности выбора и держится наше сосуществование.

Так он говорит, со-существование.

Солидарность на основе неопределенности всего и именно поэтому.

Но со-существовать можно только с живой экзистенцией, т. е. с живым иным существованием в образе человека.

Вот тут-то и встаёт вопрос: вовк это живая экзистенция или неодушевленная эссенция?

Можно с ним со-существовать или надо к нему относиться как к ничто?

Конкретному временному ничто и всеобщему постоянному?

Подъём ноги уже болит. Быстро же тело начинает отказывать. Гораздо быстрее, чем душа или что там внутри. Ну это так всегда в начале.

«Под шкафом тоже. Под этим и под тем».

«Есть, товарищ старший сержант!».

С наслаждением скидываю щётку с ноющей ноги и хватаюсь за шкаф, чтоб отодвинуть его с дороги.

«Щётку надеть».

«Есть, товарищ старший сержант!»

Так.

Ладно.

Надеваю.

Ну как тут со-существовать, синьор Аббаньяно?

Отодвигаю шкаф.

Тру белый квадрат под ним.

До блеска котовых яиц.

Но блестит он слабо.

«Вяло трёте. Больше энергии».

Потом, уже в другой жизни, точно так же будет говорить Господин Третий Год из ленинградской тусовки поэтов, только глагол там будет другой: не «вяло трёте», а «вяло пишете». А в остальном будет та же каптёрка шесть на шесть и дрочка пола под шкафом. Но это потом.

Ладно.

¹⁰ Шестов, Лев (1866, Киев – 1938, Париж), русский философ-экзистенциалист. Главный труд Шестова – медитативный трактат «Апофеоз беспочвенности».

Тру.

Ну что же там Аббаньяно?

Вот он считает, что самое главное из всего, в чём живет человек, это время, и что именно благодаря времени у человека появляется множество возможностей, пока в один неожиданный момент время вдруг не иссякает.

Что принесёт нам время, какие возможности, даже ещё сегодня, даже через минуту, неизвестно.

Но это-то и есть самое интересное.

«Добро, двигайте на место. Теперь вон под тем».

«Есть, товарищ старший сержант!»

Уже весь мокрый.

Пот течет по лбу, струится по щекам, как водяные пейсы у какого-нибудь настоящего еврея.

Снимаю зимнюю шапку-ушанку, в которой молодые, – а молодые мы весь первый год – из трех, – обязаны ходить в казарме.

Вытираю лоб рукавом гимнастерки.

«Шапку надеть», без выражения.

«Есть, товарищ старший сержант!»

Нахлобучиваю шапку на макушку, только чтобы не давила на мокрый, раздраженный лоб.

«Шапку надеть по уставу».

Спускаю шапку на лоб.

Мокну.

Теку.

Тру.

Матерюсь.

Ненавижу.

Стоп.

Аббаньяно говорит, что как раз неприятие мира, как он есть, – вот неподлинное существование.

А мир есть только вот этот, такой гнусный, как сейчас. Но надо его принять.

А как его принять?

Что для этого сделать?

Начинаю отодвигать второй шкаф.

Тяжелый, сука.

Но мысль моя должна мне помочь.

Мысль моя должна меня поддержать.

Без мысли моё «я» такой же шкаф.

Без мысли моё «я» вовк.

Моё «я» без мысли – вовк.

Мысль – моя почва. Моя почва – мысль.

Хорошо, двигаю шкаф, но что двигает вовком?

Ведь тоже мысль?

Мысль о чём?

О власти, о превосходстве, о собственном бессмертии?

Но ведь и моя мысль о том же.

Да любому вовку, как и мне, тоже нужен смысл существования.

Любой вовк, как и моё «я», тоже ищет этот смысл.

Но ищет его по другому, иначе, чем моё «я», по-своему.

И ведь, прямо по Аббаньяно, – ищет его через со-существование с другими.

Но как?!

Властвуя над ними, осуществляя по отношению к ним свою волю, подчиняя их, командуя ими.

И находит в этом смысл самого себя, свое предназначение, свою миссию на земле.

Подчинять, руководить, направлять, принуждать, наказывать, учить.

Но ведь и мой смысл в том же – чтобы учить и даже поучать, но только не подчинением и принуждением другого, а отстранением, отчуждением себя.

Мы все просто взаимно учим друг друга.

С большей или меньшей долей любви и ненависти, терпимости и злости.

Так вовк – учитель?!

Вот этот конкретный вовк – он мой учитель?

Мой гуру?

Потом, уже в другой жизни, я наткнулся в одном эссе архиепископа Сергия Пражского на размышление о том же, – что самые неожиданные и повседневные житейские обстоятельства служат нам СТАРЦАМИ, учителями, гуру. Но это потом.

Ставлю на место второй шкаф.

Тяжелый, собака.

Не двигаю его, а кантую, с угла на угол, царапая только что надраенный пол.

Поворачиваюсь и снова тру.

Письменный стол, за которым сидит вовк, уже близко.

«Под столом не натирать».

«Есть, товарищ старший сержант!»

Стол обхожу.

Сбоку и спереди.

Поскольку вовк сидит сразу у стены, к ней спиной, обойти его сзади не могу.

Треснуть его бляхой ремня по лысине не могу.

Схватить его сзади за шею и вдавить ему кадык в горло не могу.

Стратегически он окопался точно.

Подойти к нему можно только с флангов и с фронта.

Но с флангов и с фронта к нему тоже просто так не подойдешь, потому что стол он приказывает обойти и между нами полоса прикрытия.

Ладно, стол обхожу и двигаюсь к входной двери, откуда начал.

Пусть живёт пока.

Вот и дверь.

Уф.

Кончаю елозить ногой по полу, снимаю щётку, поджимая и разжимая пальцы в пропавшей портянке, сапог давит как каменный.

«Ещё раз».

«Ещё раз?»

«Что не ясно?»

«Всё ясно, товарищ старший сержант!»

«Раз ясно, пошёл!»

Никаких эмоций. Не повышая голоса. Вовк сегодня в ударе. Того и гляди, кончит от наслаждения. Среднестатистический вовк в состоянии оргазма.

Снова иду по прежнему кругу.

Вернее, по прежнему квадрату, поскольку каптёрка наша имеет форму чистого квадрата.

Шесть на шесть на шесть на шесть, значит квадратных тридцать шесть, – без стеллажей и шкафов.

Серо-зелёно-коричневый квадрат.

Что делать с этим Малевичем?
С этой квадратурой вовка?
А ничего.
Расслабиться.
Расслабиться телом, сосредоточиться мыслью.
Собраться.
Сконцентрироваться.
Что главное?
Главное – не растерять энергию.
Не растратить.
Энергию чего?
Пустоты.
Пуст и празден.
На мне и во мне ничего нет, кроме моей кожи и моего мозга.
С моей кожей он не сделает ничего.
Разве что начнет совать её в нужник на пространстве лица.
Ладно, это можно пережить, хотя и не стоит.
Но вот опустить, скажем, он меня не может, потому что хорошо знает, что в следующем карауле я его пристрелю.
Все они это знают.
А до мозгов моих дотянуться ему – слабо.
Так что – что?
Нога поболит и пройдет.
Остальным пусть подавится.
И тру.
Двигаю первый шкаф.
И тру.
Толкаю его на место.
Тру.
Двигаю второй шкаф.
Тру.
Толкаю его на место.
Тру.
Обхожу стол.
Тру к входной двери.
Тру.
Останавливаюсь.
Тпру.
Снимаю шётку.
Правой ноги нет.
Одна боль.
В подъеме, в стопе, в голени.
«Ещё раз».
«Как ещё раз?»
«Что-нибудь не ясно?»
«Всё ясно».
«К кому обращаетесь, рядовой?!»
«Всё ясно, товарищ старший сержант!».
Так.

Всё, действительно, ясно.
Это будет продолжаться до посинения.
До моего, то есть, посинения.
Все аббаньяно, все рассуждения о выборах и возможностях из моей головы постепенно испаряются.
Нет больше никаких выборов и никаких возможностей.
Остается только Sein-zum-Tode.
К моей Tode или к его Tode¹¹.
Конечно, всегда можно отказаться.
Всегда можно послать Вовка к матери.
Не расстреляет перед строем.
Не война.
Конечно, может сломать пару рёбер, выбить пару зубов, но не больше.
Конечно после этого будет гнобить каждый день.
Самыми разными способами, имя которым легион.
Да что там, каждый день, каждую минуту.
Пока не сгнобит.
Т. е. пока не взмолюсь о пощаде или не упаду без пульса.
Так уже было и в первом дивизионе и в третьем, где свои вовки.
Почему этого не может быть в нашем втором?
Почему это не может быть со мной?
Как раз со мной?
Может.
И даже будет.
Ладно, пусть это будет.
Но...
Что но?
А почему надо обязательно говорить нет?
И во имя чего говорить нет?
Во имя спасения чести?
Но какая честь может быть, если ты пустой и у тебя ничего нет, кроме кожи?
Что спасать?
Ах, у тебя ножка болит!
А что бы у тебя болело в Освенциме?
Это же лишь советская ракетная бригада.
Не лагерь уничтожения.
Ну, в своём роде, конечно, это лагерь уничтожения, – всего, что высовывается, всего, что держит в солдатской тумбочке сборник «Современный экзистенциализм», всего, что считает себя лучше других, умнее других, выше других.
Человек это мост, который надо перевозить.
Чтобы жил сверхчеловек.
Вовк тебе показывает, кого тут на самом деле надо перевозить.
Кого тут вообще-то очень легко перевозить.
Достаточно приказать три раза натереть пол в каптерке шесть на шесть на шесть на шесть.
Всего делов-то.
Доползаю до двери.
Доволакиваюсь.

¹¹ Sein-zum-Tode (нем.) – бытие-к-смерти.

Сотрясаю чугунную щётку с левой ноги.
«Ещё раз».
Ну нет.
«Что-нибудь не ясно?».
«Да нет...».
«Что да нет? Это что за форма обращения?»
«Ну ясно».
«По полной форме и без ну у меня!»
«Всё ясно, товарищ старший сержант!»
«Если ясно, пошёл без разговоров!».
Иду по четвертому кругу.
То есть квадрату.
Наступает самый опасный миг.
Миг-жажды-крови.
Миг-убью-ненавижу.
Теперь проигрываю, потому что смотрю на него как ядерная бомба на Нагасаки.
А он вообще на меня не смотрит.
Никак.
И только тут догадываюсь: он ждёт.
Он ждёт, когда спрошу у него: «За что?».
И тогда он со всем своим удовольствием, с полным своим удовлетворением, ответит так же, как вслух или про себя отвечают все остальные:
«Не за что, а потому. Вопросы есть, рядовой? Что-нибудь не ясно?».
Всё ясно.
Нет, он не хочет моей смерти.
Он хочет гораздо худшего.
Он хочет, чтобы моё «я» перестало быть.
Чтобы моё «я» перестало быть таким, какое есть.
И стало таким, как у всех остальных.
Которые гнутся перед ним.
Которых он ломает.
Вроде Васильева, которому он за его трусость и раболепство выбривает монашескую тонзуру на голове и пускает в таком виде странствовать по казарме.
И Васильев бродит по коридорам, жилым отсекам и ленинским комнатам и весь дивизион потешается над ним и вытирает о него ноги четверо суток.
И все ржут и надрывают животики, так всё это смешно, – куски, спиногрызы, старики, зеленыя и даже наш собственный комбат по прозвищу Герр фон Триппербах, страдающий эпилептическими припадками, смущенно хихикает в рукав кителя, утирая заодно рот от слюны.
Вот это вовк!
Васильев бы должен убить старшего сержанта или самого себя, но не делает ни того, ни другого.
Может, в этом как раз и состоит мудрость – мудрость выживания?
Я тоже сначала думал, что основной вопрос философии в том, что первично: болт или проект болта в голове, только после до меня дошло, что вопрос в другом: какой частью себя можно пожертвовать своему народу, чтобы он оставил тебя в покое, чтобы выжить?
И к чему тогда вообще выживать, если при этом надо жертвовать частью себя?
Разве это имел в виду Аббаньяно, говоря о сосуществовании?

Или вроде Матвеева, который каждое утро лижет ему сапоги до зеркального блеска, а он всё недоволен и снова поплёвывает на носки и голенища и Матвеев растирает эти плевки ладонью, а потом опять лижет.

Или маленький Ахматбаев, которого он решает по-былинному наказать за плохое знание языка Пушкина и Толстого, берёт его одной рукой за мотню слишком широких штанов, другой за воротник грязной гимнастерки с несвежим подворотничком, поднимает в воздух и швыряет об пол, как Илья Муромец Идолище Поганое, и Ахматбаев падает на растопыренные пальцы и ломает их на правой руке сразу три.

Значит всё-таки кожу мою он порушить может.

Да и в мозги может залезть.

Придется мне всё-таки уходить в глухое нет, как в эковскую несознанку.

Но что это значит, глухое нет?

Как его реализовать?

На последнем издыхании проелозиваю к входной двери и завершаю четвертый квадрат.

Стою.

Молчу.

Жду.

Ноги дрожат.

Щётку с носка не снимаю.

Чтобы сошвырнуть ее поэффективней, когда он снова скажет еще раз, а моё «я» скажет нет.

Но он говорит «Добро, теперь марш за мной».

И моё тело не то, чтобы марш, но и не валится пока без пульса, а так, волочит за ним, с некоторым даже интересом, – какого ещё вовка сочинит персонально для моего «я» вот этот отдельно взятый сознательный Вовк?

Сцена 2

Коминий

*Когда б о том, что ты свершил сегодня,
Тебе я рассказал, ты б не поверил
Своим деяньям. Лучшие донесенье
Я в Рим отправлю, чтоб, его читая,
Сенаторы сквозь слезы улыбались;
Чтоб нобили, сперва пожав плечами,
Возликовали под конец; чтоб жены
Ему внимали в сладостном испуге;
Чтобы сказать пришлось глупцам трибунам,
Тебе, как весь их затхлый плебс, враждебным:
«Хвала богам, у Рима есть солдат!»*

(В. Шекспир. Кориолан. Акт I, Сцена 9)

Батарея, уже отбившись на вечерней поверке, расползается по койкам онанировать перед сном, а потом спать и просыпаться, тревожа ночь заунывными протяжными воплями – «дневаальный, снеси мой хер поссаать!» и тишина...

Дневальный, гефрайте Соболев, стоя у тумбочки со штыком на поясе, читает боевой устав красной кавалерии 1924 года, прикрывая им розовую книжку Стругацких из Библиотеки мировой фантастики. Эта книжка про дона Рэбу и дону Румату зачитана и вожделенна, давно её у Соболя клянчу, чтобы снова медленно перечитать. Но одолевает её Соболев медленно. А

когда читает, губами шевелит. Зуб даю, что половину того, что там Стругацкие понаписали, он не сечёт, а в подтекст ихний, хитрованский, тем более не врубается.

Поскольку Соболев тоже Господин Третий Год, как и Вовк, старший сержант обходит дневального молча и замечаний гефрайте не делает, хотя Стругацких, конечно, видит. Да Соболев особенно-то и не прячет. Архангельские ребята все такие, хохлов они в полынье видали, даже таких как Бовк, мол, мы поморы, нам всё моржово.

Это, конечно, не может не поднять в моей отравленной интеллигентской душе ядовитую волну злорадства. Но Бовк даже спиной её чует и когда мы заходим в казарменный сортир, он уже напряжен и вздыблен надо мной как бог Тот над храмовым писцом в тесной пирамиде.

«Видите?»

«Что?», туповато спрашиваю, хотя, конечно, вижу.

«Сколько умывальников, видите?»

«Десять, товарищ старший сержант».

«Правильно, рядовой. Даю вам на них час, до полуночи».

«Шесть минут на умывальник не хватит, товарищ старший сержант. Тут песок нужен».

«Вот и найдите его. Ясно?»

«Так точно, товарищ старший сержант!».

В хозяйственной подсобке беру ведро и лопату, на дрожащих ногах скатываюсь по лестнице, во дворе перебежками добираюсь до курилки под открытым небом, где стоит огромный ящик с песком у стенда с противопожарными инструментами, в частности, с гигантской не то секирой, не то алебардой, наводящей меня на разные посторонние мысли типа убью-ненавижу. Но ничего. Набираю три четверти ведра и тащу его вверх.

Умывальники драить легче, чем натирать пол.

Когда натираешь его четыре раза по тридцать шесть метров, начинаешь терять чувство равновесия, вестибулярный аппарат бастует и всё время валишься, то вправо, то влево, отклоняясь от генеральной линии.

Зато об умывальник можно одной рукой опереться, а другой драить его, гада, пытаюсь протереть насквозь.

Да и ноги стоят на одном месте и ещё не разъезжаются.

Песок сдирает желтизну, вода смывает песок, вот только пальцы постепенно леденеют, потому что вода здесь только холодная, для бодрости, ну и чтобы член по ночам остужать, когда инстинкт размножения доймёт уже совсем невыносимо.

Но есть у работы по отдраиванию десяти умывальников и ещё одно явное преимущество, – во время неё можно мыслить, потому что не думаешь только о том, как бы не грохнуть.

Мыслить же не только можно, но и нужно.

Нужно мыслить.

Необходимо.

Иначе он сделает из меня животное.

Массовый вовк и занимается тем, что делает из нас животных. В ответ на свои животные действия он вызывает наши животные реакции. И мы становимся его частью. Частью вовка. Поэтому моё тело не будет готовить себя к убийству вовка. А моё «я» не будет думать о тех бесконечных и многообразных способах, какими оно его прикончит. Сейчас или потом, на гражданке. Более того, моё «я» не будет его ненавидеть. Моё «я» не будет тратить себя на ненависть. Моё «я» не будет жертвовать собой в пользу ненависти, потому что это значит жертвовать частью себя в пользу вовка. Моё «я» вообще не будет о вовке думать. Пусть он, вовк, будет сам по себе, а моё «я» будет само по себе. Пусть он живет в своих мыслях, а моё «я» будет жить в своих мыслях.

Хорошо. Но вовк не драит сейчас этот, вот уже третий, умывальник, а моё тело драит. И впереди еще семь. А руки уже совсем заледенели и песок разъедает кожу. Что же, так и терпеть? Вполне можно потерпеть, – если заняться сравнениями.

В восьмом классе в школьной бибке выбираю для ознакомления огромный талмуд под названием «Бухенвальд». Там очень подробно классифицированы все виды наказаний и казней в этом лагере. И не менее подробно описаны. Для старшего школьного возраста. Книга производит на меня впечатление гораздо большее, чем Мопассан, украденный из отцовского спецшкафа и к восьмому классу уже прочитанный весь, от «Пышки» до «Милого друга». А «Бухенвальд»... Почему-то чувствую, что это обо мне, о моей будущей судьбе, что ничего не кончилось и не ушло в прошлое, что история спрессована и продолжается сейчас точно так же, как шла тогда. Почему-то точно знаю (и очень рано это узнаю от самого себя), что в любой момент кто угодно может прийти в квартиру и сделать с каждым из нас всё, что угодно. Поэтому после знакомства с порядками Бухенвальда занимаюсь, естественно, придумыванием собственных видов казней – как для хозяев лагеря, так и для некоторых знакомых. Особенно одна великолепная казнь мне очень нравится: закапываю какого-нибудь партайгеноссе или, скажем, училку химии, которая меня жутко презирает за тупость, в землю, – по плечи, так, чтобы торчала только одна голова, и пускаю на эту его/её голову асфальтовый каток со скоростью 1 (один) миллиметр в час... И вот сейчас ещё вижу, как голова эта медленно, по 1 (одному) миллиметру в час начинает гнуться, отгибаться вместе с шеей, назад, назад, назад, назад...

Уф!

Заканчиваю шестой умывальник, рук не чувствую. А тут ещё акт пятый, сцена два, те же, входит Вовк. Он сегодня, видно, никогда не отобьётся. Всю ночь что ли будет самолично меня гнобить?

Вовк вынимает из своих козлиных галифе белый носовой платочек и вытирает им первый умывальник. А потом этот свой платочек молча показывает мне. На платочке, естественно, желтоватые пятна. Но это уже не рыжая грязь, а просто следы ржавой воды, которая накапала за минувшие минуты.

«Видно?»

«Так точно, товарищ старший сержант!»

«Закончите всю десятку, начнёте сначала, рядовой. Ясно?»

«Так точно, товарищ старший сержант!»

Вовк молча смотрит на меня.

А я на него.

Из всех сил стараюсь смотреть на него без всякого выражения.

Без чувств.

Без эмоций.

Как на массового вовка.

Как на Das Mann.

Оно.

Так завещал великий Хайдеггер.

И тут Вовк харкает на пол, мне под ноги.

«И пол вымоешь», говорит он, переходя на ты.

Как-будто оно точно почувствовало, что о нём говорит Хайдеггер.

К пол-третьему ночи кончаю с умывальниками и бетонным полом.

Пол мою, сидя на корточках и разогнуться сразу не могу.

Дрожат ноги, руки, губы.

Когда, наконец, разгибаюсь, развешиваю тряпки на батарее отопления и почти с остановившимся от счастья сердцем собираюсь умыться руки и рухнуть, наконец, в койку, на сцене появляется дневальный Соболев, начитавшийся обоих братьев Стругацких до явной физической тошноты.

«Ты вот что, ты прости, молодой», говорит он, «но наш спиногрыз приказал ещё все очки поддраить. До утренней поверки. Чтобы к подъему блестели, как...»

«Котовы яйца», говорю.

«Ага», говорит Соболев и стоит, не уходит, чего-то ждёт. Потом неожиданно спрашивает: «Так что, сделаешь?»

«Так точно, товарищ ефрейтор!», говорю.

Соболев ещё мгновение смотрит на меня, ну точно, он чего-то ждёт, думаю, что догадываюсь, чего именно, а потом уходит.

Значит Вовк-таки в койке.

В самом *деле*, не будет же он сам не спать всю ночь.

Вот тут бы его и кончить, тут бы его и порешить, гада.

Убью-ненавижу.

Подушку на морду и задавить.

Или вот это, то, что у моего «я» припасено на нижней полке в тумбочке, под умывальными принадлежностями, запасными плавками и за сборником «Современный экзистенциализм». То, что я спёр вчера после ужина с кухни, пока повара гоняли чифирь до почернения губ. И вот этим – его – по горлу – одним – движением – раззз!

Происходящее сейчас в моём «я» некоторые называют богатым творческим воображением, но Хайдеггер бы сказал, что это онанизм здесь-бытия, тоскующего по иной, идеальной реальности, взыскующего трансценденции, т. е. исхода из этой юдоли слёз куда угодно, хоть к чёртовой матери.

Но онанизм этот умственный есть лишь суетная и бессмысленная *Sorge*-забота, тщетная и бесполезная трата драгоценной душевной энергии, ибо никакой трансценденции не будет, а чёртова мать и так здесь.

Учение Хайдеггера всеильно, потому что оно верно.

Вопросов нет, товарищ рядовой.

И потому моё «я» прекращает фантазировать на банальную человеческую тему «убью-ненавижу» и ведёт моё тело в сортир драить очки.

Очков восемь штук.

Четыре по одной стороне, четыре по другой.

Вместо писсуаров вдоль торцовой стены продольный жёлоб.

Снова беру тряпки, ведро с остатками песка, второе ведро для воды, моток проволоки, железный совок, швабру.

Ещё раз: конечно, можно отказаться.

Можно послать на, забить болт и положить прибор.

Ни фигу не расстреляет.

Не война.

Может сломать ребро, выбить зуб, но не больше.

Будет гнобить каждый день.

Каждый час, каждую минуту.

Разными способами.

Пока не сгнобит.

Пока не взмолюсь, пока не свалюсь.

Так уже было.

С другими.

Почему это не может быть со мной?

Как раз со мной?

Может.

И даже будет.

Ладно, пусть это будет.

Но...

Что но?

Но несправедливости нет.

Есть только выбор.

Выбор между тем, что ты примешь, – и тем, что ты не примешь.

Что ты примешь безусловно, что – сильно подумав, и что не примешь ни за какие деньги.

Что ты допустишь с собой сделать и чего ты не допустишь никогда.

Можно отказаться выполнить приказ.

Можно пойти на губу.

Можно начать жаловаться по инстанциям.

Но есть во всём этом что-то нечистое.

Не чистое это сопротивление.

Не твоё.

А с помощью других, – обстоятельств и людей.

Вот в этом казарменном сортире, который «поддраивают» сейчас руки моего тела, в том, что драют они его молча, в том, что моё «я» не лезет ни к кому из окружающего меня вовка с унижительными и заискивающими вопросами, просьбами, намёками, в этом гораздо больше чистоты.

Есть только выбор, чистый выбор, и то, что ты берёшь на себя, когда его делаешь.

В том, чтобы вслух, словами русского языка не говорить вовку «нет», но всем своим существом подчеркивать, что ты это «нет» самим собой воплощаешь, сам в себе осуществляешь, – вот в этом будет заключаться сегодня «нет» моего «я».

«Да» и «нет» не говорить...

Помру так помру.

Зато чисто, хотя, может быть, и в сортире.

Так учит нас великий Камю.

Потом, в другой жизни, читал я «Антигону» Жана Ануя, которую он написал в 1943 году, так эта девчонка там говорит своему вовку, т. е. фиванскому царю Креону: «Я здесь для того, чтобы ответить вам “нет” – и умереть», а меня этому научил мой старший сержант.

Мне предстоит серьёзная работа над собой. Такая серьёзная, что, возможно, она изменит меня навсегда. Как же хотел бы ты возродиться, не обратившись сперва в тряпку, пропитанную чужой мочой?

Смотрю на свои руки.

Это не мои руки.

Меня в них нет.

Так думает насилуемая женщина о своём теле.

Меня в нём нет.

Моё «я» – это не моё тело.

Тело, конечно, может болеть.

Но то, что болит, – болит снаружи, то, что омерзительно, – омерзительно снаружи, вся эта ежедневная, ежечасная гнусь, она снаружи.

Главное, чтобы боль не коснулась того, что внутри, того, что скрыто, не знаю, как это называется, душа, дух, воля?

Того, что является моим подлинным «я».

Того, что находится за кожей, что спрятано даже и от меня самого.

Но «я», это моё «я», оно-то знает, что оно есть.

Оно есть во мне, это «я».

Оно моё, только моё и моим останется.

Ничто его не размочит, ни кровь, ни моча, ни водка.

Потом, в другой жизни, в эпоху божественного мрака, который мягко именовался застоём, один знакомый сказал мне скорбно: «жизнь меня размывает»; жизнь размыла его настолько, что он позволил славным ребятам из железных ворот ГПУ завербовать себя и стал натужно стучать, полностью осознавая, что жизнь размывает его, что поделаешь, да? Так вот, в том казарменном санузле, в том, как бы сказал брухо Хуан, месте-без-жалости, – хотя, конечно, какое оно там было место-без-жалости в сравнении с той Пальмирой-на-Обводном-канале, где мы со-существовали потом с моим постукивающим знакомцем, – я почувствовал, что жизнь меня не размочит извне, и не потому, что будет такой доброй, а потому что внутри себя я не буду её бояться. Этому научил меня мой старший сержант. Мой персональный вовк.

Здесь и сейчас, вооружившись революционной теорией первичности сознания и вторичности окружающего его небытия, приступаю к работе над восемью очками.

Собираю в тряпочку невысохшую мочу, сдираю песком и проволокой засохшие экскременты, драю, чищу, мою, – и ничего не чувствую.

Добиваюсь своего – моё «я» ничего не чувствует.

Моего внутреннего человека всё это не касается, не затрагивает и не только не пачкает, но наоборот, каким-то странным образом даже очищает.

Понимаю, почему очищает, – потому что в меня входит сила, в меня входит власть над обстоятельствами, власть духа над материей.

Не могу сказать, что тогда, в ноябре 1966 г., моё «я» именно в таких словах понимает всё, что происходит с ним, но чувства, ощущения, интуиции говорят ему, что моё «я» одержит победу – над вовком ли, над собой, не знаю, но одержит. Так наивно и глупо размышляет моё «я» в свои 19 лет.

С очками заканчиваю, ни разу не подавившись и не блеванув, к шести утра.

До подъёма остаётся час.

Долго мою руки холодной водой.

Сменивший Соболева дневальный, тоже Господин Третий Год, Терентьев, приходит посмотреть на мои геройства, хмыкает, качает головой, пожимает мне (молодому!) руку, говорит «давай, держись, салабон», и снова уходит к тумбочке.

Ползу в койку, стягиваю сапоги, сбившиеся портянки, оматываю их, как положено, вокруг голенищ, расстегиваю наконец ремень, пережимающий мой живот как пчелу на две половинки, но который Вовк тоже запретил мне снимать и Соболю приказал блюсти мою уставную форму одежды, в этой форме я и заваливаюсь прямо на одеяло.

Спать не могу, не хочу.

Перед глазами суетятся, мельтешат фиолетовые, зеленые, багровые искры, башка гудит как огромный котёл, по которому грохают кувалдой.

Через 50 минут в отсек, цокая подковами, вваливается кусок Андолевич, по прозвищу Бульбачина, орёт нечеловеческим криком: «Батарей, подъём!».

Вторник, день второй.

* * *

Во вторник после ужина приказ тот же: «В каптёрку».

Натираю пол в каптёрке, где он сидит за столом, чищу умывальники и драю очки пять ночей подряд.

То, другое и третье наконец блестит как котовы тестикулы.

Вовк смотрит на меня всё более задумчиво.

Приходит в туалет и стоит там надо мной, пока руки моего тела отдирают железным совком следы чужих тел, стоит молча, расставив ноги и заложив руки за спину. Не хватает только эсэсовской фуражки с высокой тульей и хлыста.

Господин Третий Год собирается группками в курилке, смолит охнарики, поглядывает на меня, когда моё тело изредка приползает покурить. Времени и сил на это становится всё меньше. Но в отличие от всех предыдущих месяцев, курево у меня Господин Третий Год уже не отбирает, наоборот, предлагает сам, мол, возьми, молодой, чего там, снова живём и т. п. Это меня удивляет и тревожит. Уж не на смерть ли они меня таким образом провозаюют.

Постепенно замечаю, что в казарме вообще происходит что-то не то. Боевая подготовка и идеологическое воспитание военнослужащих как бы сами собой постепенно сходят на нет, становятся чем-то совершенно второстепенным. Старики угрюмо бурчат по углам, хотя трудно понять, чем именно они недовольны, а кореша из моего карантина, кирза, зелена, занимаются тем, что открыто обсуждают результаты нашего с Вовком необъявленного поединка, называют меня идиотом, сумасшедшим, выпендрёжником, пижоном, хитрым евреем, ленинградским умником, героем, красой и гордостью призыва 1966 года, шпаной с Лиговки и т. п., а некоторые заключают пари и ставят сигареты на кон, впрочем ставят они, конечно, не на мой выигрыш, на него не ставит никто, а на сроки, – т. е. сколько моё «я» ещё выдержит.

В конце концов слух о том, что «Вовк гнобит молодого» (в другой интерпретации: «хохол дрючит жида») идет гулять по всей ракетной бригаде и даже Герр фон Триппербах осведомляется у Бульбачины, нет ли в батарее неуставных отношений, на что старшина сверхсрочной службы Андолевич браво отвечает перед строем батареей, из которого я чуть не вываливаюсь по причине полного телесного истощения, что во вверенном ему подразделении никаких неуставных отношений нет и в принципе быть не может, и что всё, что происходит, происходит в полном соответствии с боевыми традициями родной армии, в чём, он несомненно прав. Всё, что происходит, происходит в полном соответствии. С традициями.

На пятую ночь моё «я» достигает озарения.

Состояния самадхи.

Точки перелома.

Вступает в Wendepunkt.

Третий час пополуночи, моё тело моет третий сверху (из шести) пролёт широченной деревянной казарменной лестницы, руки в занозах и тупо ноют от ледяной воды, спина болит, кажется, она никогда уже не разогнётся, за спиной еще три пролёта, три марша вниз, и тут во глубине моего «я», которое живет само по себе, отдельно от моих рук, глаз и поясницы, является изумительная истина. Она предстаёт перед моим умственным взором, перед моим третьим глазом, в образе цветка, медленно раскрывающегося навстречу солнечному лучу.

Цветок этот розовый, трепещущий, влажный, он раскрывается очень медленно, раздвигая, а потом распахивая свои огромные лепестки, прежде сложенные в позе балерины, изоб-

ражающей смерть лебедя в соответствующем балете, раскрывается, чтобы всем своим телом, всем своим составом, всем нутром принять энергию.

Этот цветок – это моё подлинное «я». Его истина и цель, предназначение и задача – смиренно и радостно открыться навстречу космосу. В этом акте – весь смысл жизни моего «я» до последнего мига его существования в моём теле.

В третьем часу ноябрьской ночи 1966 года, на рассохшихся деревянных ступенях лестницы в казарме второго дивизиона 1133-й ракетной бригады СА, где моё тело корчится и содрогается как каракатица, брошенная на скользкие и склизкие мостки, там, у ведра с грязной водой и половыми тряпками, моё «я» получает дар. Дар слова.

«Оно и видно, что в казарме», как говорят впоследствии некоторые коллеги по Клубу-81, забывая о том, что и в «палочке-подтирке заключён Будда».

О Будде тогда моё «я» уже что-то знает, но ничего не знает о кенозисе. Хотя, конечно же, кенозис этот игрушечный, не кенозис Бухенвальда, но каждому хватает своего. У каждого свой предел спуска вниз, свой порог страдания. Кому хватает и одной только ступени, чтобы почувствовать полное отчаяние и неизбежную гибель.

На своём спуске, на той деревянной казарменной лестнице моё «я» внезапно видит, что вот, цели в его жизни не было, и вот, она есть, вот, она обретена, и вот, никто её отнять не сможет, эту маленькую эгоистическую цель, – стать писателем, стать скрибером, – скрипеть, скрести пером, – и больше ничего.

Не надо обязательно видеть мир, чтобы его потом описать.

Не надо для этого уходить в армию, как сделало моё прежнее «я», – чтобы стать там радистом, а потом вернуться на гражданку и поступить на торговое судно и совершить плаванье вокруг света и описать его.

Только теперь, на четвертом, третьем, втором, первом пролётах лестницы моё нынешнее, новое «я», понимает, что ничего этого не надо, чтобы стать писателем.

Или вернее, не это надо, чтобы стать писателем.

Прав стихоплёт во мне, а не мой одноклассник Кинг.

Совсем не обязательно «выходить на улицу», чтобы видеть и понимать людей.

Достаточно только думать.

Можно быть и прикованным к постели.

Можно быть Прустом.

А можно быть и Павкой Корчагиным.

Какая разница?

Главное – изобразить свою душу.

Не надо больше ничего.

Что для этого нужно?

Только душа и память.

И дар, который неважно, где и от кого, получаешь.

Но если ты получаешь дар, то тогда кто-нибудь когда-нибудь обязательно должен узнать о твоей одинокой битве с вовком.

Кто-нибудь.

Когда-нибудь.

Как?

Так, что ты покажешь ему еще один кусочек реальности, еще одну клеточку гигантской мозаики, из которой складывается наше восприятие людей и их Вселенной, и там, в этой Вселенной, деревянная лестница казармы второго дивизиона займёт свое место в огромном панно,

не меньшее и не худшее, чем знаменитый Wendepunkt Данте, – «и в точке той я сделал поворот, где гнёт всех грузов отовсюду слился...».

Так думает моё «я», спускаясь с ведром и тряпками к дверям казармы, у которых сидит за столом дежурный по части, начинающий тиранито минималиссимо, младший лейтенант Проничкин по кличке Чадо, и с презрением разглядывает приближающегося к нему, противно выговорить, еврея, недобитого германским фюрером и по ошибке призванного в русскую армию.

А может, эта лестница второго дивизиона была Лествицей Иакова, может, по ней вместе со мной раком спускались ангелы, упираясь своими ангельскими личиками в ведро с грязной водой, а потом поднимались наверх с пустым ведром и снова спускались вниз с полным, может, я только и делал, что ходил пять ночей вверх-вниз по этой Лествице на небо и обратно, может, я тоже был в это время ангелом, а потом вот дембельнулся и перестал им быть, а?

Потому что цветок больше не раскрывался во мне.

Пятница, день пятый.

Сцена 3

Марций

Совершил я

Для Родины лишь то, что мог.

Любой, кто, жизни не щадя, сражался,

Делами равен мне.

Коминий

Нет, ты не будешь

Могилою заслуг своих: пусть Рим

О доблести своих сынов узнает.

Скрывать твой подвиг, обойти – преступней,

Чем кража, и предательству равно.

Марций

Изранен я. Чтоб раны не заньли,

Не надо вспоминать о них.

Коминий

Нет, надо.

Не то их загноит неблагодарность

И перевяжет смерть. Ты слишком скромн

Пусть знают все, как это нам известно,

Что в битве Марций заслужил венок.

А сверх того отъине да получит

За всё, что он свершил у Кориол,

Кай Марций при хвалебных криках войска

Кориолана имя, и пускай

Он носит это прозвище со славой!

[Трубы и барабаны]

(В. Шекспир. Кориолан. Акт I, Сцена 9)

День шестой, суббота, становится, как и положено, днём создания нового человека. В субботу и в воскресенье ни Бульбачина, ни тем более Триппербах в батарею не показываются, так что Вовк на эти два дня из мелкого беса превращается в крупного демона. Короче, осте-

регайтесь ночью выходить на болота, когда силы зла властвуют безраздельно, как сказано в «Собаке Баскервилей». Но кто это помнит?

В ночь с пятницы на субботу, в пятую бессонную ночь, моё «я» наконец догадывается, что ошибочка вышла в надеждах на гуманизм, что вовк моей смерти именно что ХОЧЕТ. Т. е. физически меня собирается извести, раз не может прикончить духовно.

В будние дни дуэль начинается по вечерам после ужина, но в субботу Вовк начинает её с подъёма.

На этот раз дуэль называется «уборка территории», УТ, в солдатском просторечии просто «уд».

«А не пошел бы ты на уд» есть самый страшный посыл, причем имеется в виду вовсе не первичный мужской половой признак, а именно уборка территории, которая дважды женского рода.

Летом это подкрашивание травы кисточками и красками в одинаковый и сочный зеленый цвет. Зимой – равнение сугробов в общем строю вдоль аллей и дорожек военного городка и придание им пирамидальных, кубических и трапецидальных форм. Весной – мытье гигантского строевого плаца мыльной водой из тазиков и чистка его зубными щётками.

Всё это суть элементы окультуривания, оцивилизовывания пейзажа, придания ему должного ОРДНУНГА. Поскольку армия есть, с русско-прусской точки зрения, верх и образец государственной мощи и ее порядка, уборка территории, т. е. ландшафта (опять прусское слово), есть верх этого порядка или витринный образец цивилизации. Это занятие культовое, знаковое. Именно УТ, а даже не идейно-политическая подготовка бойца, есть главное занятие военнослужащих СА.

До нас доходят слухи, что экипажи атомных подводных крейсеров регулярно высаживаются на дно мирового океана, чтобы во вверенных им районах систематически проводить УТ, приводя океанское дно в должный орднунг, равняя по ранжиру хаотические нагромождения коралловых рифов и систематически пропалывая Саргассово море. Говорят, что это и есть тайная истинная задача нашего славного подводного флота – чистить по периметру дно от многовекового хлама и рухляди в виде потонувших кораблей всех народов и эпох. Благородная задача. Впрочем, у русской армии неблагородных задач не бывает.

Что касается суши и, соответственно, ракетных войск на ней, то ноябрь это как раз самое тяжелое время для ответственных за УТ. Опавшие листья уже давно собраны в огромные кучи-зиккураты и торжественно сожжены, а снег еще не выпал, чтобы складывать из него трапеции и конусы, исходя из художественно-архитектурных вкусов конкретного куска или спиногрыза. Что делать солдату в ноябре? Чем занять его на территории?

Выход есть. Взводы, батареи и дивизионы цепями уходят в окружающие военный городок густые партизанские леса и чистят их от вредного сухостоя. Счастливый это удел. Поскольку отдельные несчастливцы остаются в расположении части, а им остаётся только промёрзшая как камень земля, – единственная выделенная им территория. С этой территории не уйти никому.

Но пусть прусская народная мудрость говорит: *Jedem das seine*, что значит – «на каждую хитрую жопу есть хер с винтом».

Русский солдат принимает вызов.

Он отвечает на него русской народной мудростью – «на каждый хер с винтом есть жопа с лабиринтом».

Вовк, естественно, оставляет меня на промерзшей земле у высокого забора, которым обнесен наш затерянный доисторический мир, между сараем пожарной команды и задним вхо-

дом в бригадную кухню, откуда тоненьким парком исходят привычные неаппетитные запахи. Не трудно догадаться, что будет дальше.

«Так», говорит шалунишка Вовк, используя, как и предполагалось, древнее, что твой допотопный анекдот, клише: «будешь копать от забора до обеда. Завтрак получишь сухим пайком».

Меряет взглядом мою левофланговую фигуру.

«Глубина метр тридцать, ширина метр двадцать, ясно?»

«Так точно, товарищ старший сержант!»

«Раз ясно, пошел!» и Вовк отправляется на завтрак прямо в теплую кухню с заднего входа.

Моё тело тоже хочет в теплую кухню, с любого входа, хоть в окно, хоть через подвал (случалось и там красться, добывая картоху и к ней луковицу), хочет погрузиться во все эти неаппетитные запахи, войти в них, привыкнуть к ним, раствориться в них, пока они не станут аппетитными, как это всегда происходит, в конечном счете, в процессе «приёма пищи», но нельзя. Надо продолжать говорить нет, говоря да.

Здесь, собственно, не нужен никакой экзистенциализм, Ануй, Хайдеггер, Клеон и стойкая Антигона, весь этот комплекс поведения укладывается в старую армейскую мудрость: «получив любой приказ, немедленно говори «есть!» и ничего не делай, потому что следующий будет «отставить!»».

Но в данном случае что-то делать надо, и много чего надо делать, потому что канава должна быть налицо и отставлять этот свой приказ данный конкретный вовк не будет.

Поэтому ползу назад в казарму натошак, возвращаюсь со штыковой лопатой и топором, занимаю позицию у забора и примериваю, где, ориентировочно, получится обед. Потом топором начинаю вырубать первый квадрат заиндевевшего снаружи, заледеневшего за ночь изнутри, седого с прозеленью дёрна. Опыт у моего «я» уже есть, а усвоенный опыт это основа выживания.

Между тем, Господин Третий Год, который, естественно, «на уд не ходит», тянется в столовку на предмет утреннего приёма пищи. Тянется и озирает мои усилия. Тянется и озирает. Молча.

Моё «я» внешне тоже молчит. Зато внутри себя предается гигантских масштабов полифонии. Позавидовать этому многоголосью может любой краснознаменный хор. Успокоительные басы напоминают сверху, что вовк это гуру, представленный здесь в качестве тренажера (позднее мы бы всё-таки сказали по-кастанедовски: представленный здесь в лице тираниссимо минималиссимо) для экзистенциальной тренировки испытуемого, тогда как тоненькие альты снизу вплетают в общую песнь пронзительные всплески типа «убью-ненавижу» и привести всё это в состояние гармонии моё «я» не способно.

Остаётся только копать.

Физическая работа – в разумных, конечно, пределах, а не в качестве медленной гулаговской казни, – всегда полезна, приятна и вносит в жизнь скребущего пером, т. е. скрибера, волнуемое переделкинское разнообразие. Так моё «я», вскочившее утром в субботу пишущим человеком, пытается примириться с действительностью.

Да, кому-то другому, пожалуй, и можно было бы примириться, но в воображении человека с той внешней фамилией, какая пришпиlena булавкой судьбы к моему внутреннему «я», копание обычной дренажной канавы очень быстро превращается в копание рва. А ров себе моё «я» копать больше не хочет. Хватит. Покопали.

Тело моё сгибается и разгибается – молодое ещё, ни радикулита, ни ишиаса, ни остеохондроза, всё это только тайно зарождается в нём, ладони уже давно с мозолями, лопату и топор держат уверенно, чувство голода исчезает во время работы, вот для чего, в частности,

надо заниматься трудом, – чтобы жрать поменьше, а кидать подальше, и тебе полезно и ответственным за УТ выгодно, и только душа скорбит, не хочется ей погружаться в ров, по щиколотки, по колени, по пояс, почти по плечи. . . Как-то очень уже знакомо всё это. . . По рассказам отца, по фильмам, по книжке «Бухенвальд» . . .

«Перекур, молодой!» слышу голос сверху. «Не напрягайся, стропило!»

А это Боб Хрусталенко из Гуся-Хрустального, из глубины лесов мещерских, где дух чухны, где угро-финном пахнет, но и там хохлы живут. Боб – геодезист из пятой огневой батареи, такая же гнилая интеллигенция как и мы, радисты из батареи связи. Но Боб – Второй Год. Это значит, что хотя он и не Господин, всё равно весь первый год для него – сплошь молодые, а сам он всё ещё молодой для Господина Третьего. Только когда последний Господин Третий Год покинет казарму, отслужив и переслужив своё, только тогда Второй Год совершит свою революционную метаморфозу, в одну секунду сам став Господином Третьим. А мы станем – Вторым. Таков круговорот воды в природе, таков закон высшей космической справедливости, именно его имеет в виду Иммануил Кант, говоря о штернише химмель и моралише гезетц¹².

Обращение Боба Хрусталенко ко мне это одновременно и издёвка и комплимент. Комплимент состоит в том, что, с одной стороны, «стропило» это базовая балка, которая держит крышу и назвать так кого-нибудь, тем более молодого, значит проявить высшую степень уважения, а, с другой стороны, есть в этом слове и образе его длина и протяженность, в чём слышится безусловный и беспощадный намёк на мою общую левофланговую короткость. Своей безупречной точностью солдатские клички восхищают меня как филолога, решившего прошлой ночью стать скрибером. Обижаться тут не на что. Иное дело, что «стропило» обычно «напрягается», держа крышу, а это вредно и опасно. Напрягаться стропило не должно. А то треснет пополам от усердия. Держать не напрягаясь – вот задача стропил.

Сам того не подозревая, Боб Хрусталенко произносит формулу дзэнского «недеяния» и раннехристианского «неделания», но это мне станет известно еще через несколько лет, когда на гражданке моё «я» снова будет искать способ раскрыться, подобно цветку, навстречу неполитической, несоциальной, несоветской, несоциалистической, некапиталистической, нечеловеческой энергии космоса, которая будет тогда являться мне то в виде Выхода из течения Реки, то в виде Большой и Малой колесницы, то в виде Золотого срединного пути, то в виде толтекского Орла и нагуаля.

Боб протягивает мне завтрак, мой рубон, мою пайку, – четыре ломтя хлеба, квадратик масла, два куса сахара.

Боб протягивает мне свою фляжку с еще теплым чаем и говорит «Прополощи горло, Стропило».

Так моё безымянное, безвестное, никому не нужное молодое «я» обретает ИМЯ. Ещё не отдаю себе в этом отчёт, ещё не сознаю, что до самого дембеля (а, может, и дальше?) мне придётся теперь что-то держать над собой, оправдывая ИМЯ. Иначе его отменят и дадут другое, презрительное и позорное.

Пока же, шекспировским гробовщиком стоя в своей яме, опершись о штыковую лопату с инвентарным номером 66, принимаю из рук Боба Хрусталенко жратву и флягу, и пока Боб, стоя надо мной и покуривая махорочную «Приму», простыми гусь-хрустальными словами рассуждает о жизни, смерти и бедном Йорике, сжираю аки рыкающий лев свой законный, казённый рубон (спасибо министру обороны маршалу Малиновскому!) и как рыкающий лев глотаю чай из хрусталёвской фляги. Нет, есть всё-таки местами над головой штернише химмель и есть в некоторых людских экземплярах, не исключая и хохлов, моралише гезетц!

¹² Имеется в виду категорический императив Канта: *sternische Himmel iiber uns und moralische Gesetz in uns* – «звёздное небо над нами и нравственный закон в нас».

Вот тут, как в плохом детском спектакле про Иванушку-дурачка и Кощея Бессмертного, как раз тогда, когда я протягиваю Бобу Хрусталенко его опустевшую флягу из своего рва, на свет Божий из дверей кухни вываливается Вовк, утомленный тёплой едой и долгим трёпом с поварами.

Он вываливается на свет Божий,
он долго стоит на крыльце,
огромный даже издали,
широкоплечий,
узкобёдрый,
в униформе цвета здорового свежего говна,
пригнанной впритык ко всем выпуклостям и впадинам его корпуса,
тщательно выглаженной,
без единой складочки и пятнышка,
с ослепительно белым подворотничком в целлулоидном пакете по верху воротника гимнастерки, чтобы не перешивать его каждое утро,
широкими алыми поперечными лычками на погонах с плоскими крышками мыльниц внутри, чтобы лежали на плечах как влитые прямоугольники и не топорщились,
в сверкающих хромовых сапогах, высота каблука 26 мм,
с пилоткой за ремнем с золотозвездой бляхой, ослепительно начищенной асидолом на бархотке,
он медленно натягивает черные кожаные перчатки,
отражая молодой крепкой лысиной холодное осеннее солнце,
не торопясь оглядывает свои руки в черной коже,
и двигает к нам,
прямой и гордый как грот-мачта при свежем бризе,
неся вместо паруса чуть выпяченный мускулистый торс с впалым животом,
орёл ракетных войск,
жеребец Малиновского,
ходок и ёбарь,
надёжа всех несчастных баб из окружающих военный городок псковских колхозов, совхозов, коровников и свиноферм,
верный муж своей супруги, регулярно отъезжающий к ней в отпуск для удовлетворения последней,
бык,
козёл,
животное,
сперматозавр с непреходящим густым запахом мужского тела, который не способен перебить никакой шипр и никакой табак,
Господин Третий Год,
отличник боевой и политической подготовки,
зампарторга дивизиона от срочнслужущих,
старший сержант Вовк, Владимир Тарасович,
комендант Бухенвальда.

«Ублажаете молодого, ефрейтор Хрусталенко?»

«Так точно, товарищ старший сержант», равнодушно отвечает Боб.

Вовк смотрит на меня сверху.

Я смотрю на него снизу.

Опершись на штыковую лопату, инвентарный номер 66.

Хорошо бы этой вот лопатой да врезать старшему сержанту по его тесно обтянутому первичному половому признаку, но Хайдеггер не позволяет. Суета, говорит. Тщетная забота о неподлинном.

И действительно, – что мне вовков первичный признак? Что я ему?

Но Вовк, видимо, решает все же основательно меня на него посадить.

«Хотите помочь молодому, Хрусталенко?», добродушно спрашивает он.

У Второго Года, естественно, свои незыблемые привилегии, к нему можно обращаться уже просто по фамилии, подчеркивая тем самым его существование, тогда как мы все просто безымянные молодые.

«Никак нет, товарищ сержант», равнодушно отвечает Второй Год Хрусталенко, как бы невзначай опуская эпитет «старший».

«Думаю, вы правы», слегка утомленно говорит тираниссимо минималиссимо, «помочь молодому в том, что никто из людей срать с ним на одном гектаре не садится, люди не могут, а самостоятельно молодой помочь себе не хочет. Это проблема. Как вы считаете, Хрусталенко?»

«Затрудняюсь ответить, товарищ сержант», мрачновато говорит Хрусталенко, опять опуская эпитет.

Второй Год, естественно, может уже себе позволить такую вольность, называя старшего сержанта просто сержантом. Это разрешено традицией. Это нормально. Никто здесь ничего не нарушает. Но Второй Год это всего лишь Второй Год. Он не господин. Не он здесь господин.

«Тогда давайте эту проблему присыпем песочком», неожиданно оживляется Вовк и мне окончательно становится ясно, что на свой первичный он будет меня сейчас сажать, как на турецкий кол.

«Не понял», совсем мрачно говорит Хрусталенко.

Спятил Хрусталь.

«Дай ему лопату», помолчав секунду, говорит Вовк.

Протягиваю наверх Хрусталенко лопату.

«Засыпайте, ефрейтор Хрусталенко».

Хрусталь берет лопату и молча смотрит на Вовка.

«Закапывайте, закапывайте его, ефрейтор Хрусталенко. Что не ясно?»

Ну это уже беспредел.

«Не буду», говорит Боб.

Совсем, совсем спятил Хрусталь. А Вовк спятил уже давно. Но я-то ещё не спятил. Хватаюсь за край ямы и рывкомдвигаю тело наверх, наружу из этого гроба.

«Куда?!» вдруг орёт Вовк и пена выступает у него в уголке губ. «Пошёл в яму, говно!»

И тело моё вместе с моим элитарным экзистенциальным космическим «я» мгновенно сваливается назад в свой гроб, покорно, послушно сваливается в свою тесную, жутко пахнущую сырой смертной землёй традиционную яму.

«Закапывай его!» кричит Вовк ефрейтору.

У Боба Хрусталенко кривятся губы, он пятится от Вовка, он опускает голову и не глядя на меня, хватая на лопату горсть земли из выброшенной мной снизу кучи. И сыпет ее аккуратно вниз, мимо моих сапог, на дно ямы. Наши глаза встречаются. В моих, по-видимому, мольба червяка, в его глазах – растерянность, но эта растерянность быстро тает и начинат сменяться чем-то совсем другим, мне ещё непонятным.

«Ладно, сержант», говорит Боб неожиданно игривым тоном, «закопаем молодого по шею, а дальше что?»

«Как это что?» расслабляется Вовк и хохочет от пуза. «Как что? Пустим по нему асфальтовый каток. Со скоростью один миллиметр в час».

Всё видит Бог!

Они закапывают меня там, недалеко от кухни.
Вовк с отвращением, Боб Хрусталенко с любопытством.
Потом они стоят над моей молчащей головой, курят и говорят о погоде.
Иногда Вовк рассеянно стряхивает на меня пепел.
Вокруг могилы постепенно собираются люди.
Они тоже курят и тихо беседуют, поглядывая на меня, указывая на меня пальцами друг другу и решая что-то важное.
Всё это Господин Третий Год. Молодых к могиле не подпускают.

Тело моё немеет под холодным песком.
Жива только голова.
Она смотрит прямо перед собой.
Перед собой она видит сапоги.
Потом эти сапоги растаптывают брошенные на землю окурки и старший сержант Вовк приказывает ефрейтору Хрусталенко откопать меня, вытащить из ямы и выбросить на помойку за кухней.

Эпилог в третьем лице за отсутствием первого

*Кориолан
Привет, отцы!
Ваш воин возвратился,
к отечеству любовью зараженный
не более,
чем в первый день похода...*

(Шекспир. Кориолан. Акт V, Сцена 6)

Вечером того же ноябрьского дня 1966 года от Рождества Христова в каптёрке батареи связи второго дивизиона 1133-й ракетной бригады Сухопутных войск СССР собралось вече Господина Третьего Года.

На вече было высказано порицание болярину Вовку, нарушившему понятия: он принял за убогого мужика и фрайера одного из иногда встречающихся в опчестве юродивых, но полезных жидов.

Одновременно, за сим юродивым, получившим инициационное имя «Стропило», были признаны права «уголового», – нейтрала-наблюдателя, которого запрещалось использовать и употреблять и который получал право выступать третейским судьей на проходящих в чистом казарменном сортире поединках, актах суровой «присяги» молодых, судах чести, публичных песенно-гитарных турнирах и прочих сходках первобытного характера.

С того вечера Стропило стал уголовным.

* * *

Легат 1133-го ордена Сципиона второй степени легиона полковник Нукер был этом фактом крайне недоволен, – «Кто там у вас во второй когорте замполит, капитан Жемчужный или этот Стропило?» спрашивал он примуса когорты подполковника Фусенко (кличка Кобёр, – в своих сверкающих на солнце очках и с палочно-прямой спиной он и впрямь напоминал самца кобры).

Поэтому на склоне августа 1968 г. оба славных римлянина отправили Стропило (и ещё девять командировочных) от греха подальше – служить Империи на дальний германский лимес, в разложившийся западнославянский гарнизон на краю капиталистической Пустыни Тартари.

На краю пустыни Стропило, оказавшийся в роли римского легионера и цивилизатора, от скуки и отвращения практиковал медитационную технику, распространенную среди местных варваров. Они определяли её как способность всегда, везде и при любых обстоятельствах «изображать мёртвого жука»¹³.

Благодаря этому, Стропило выжил как среди восточных, так и среди западных славян, а когда живым, но контуженным в голову, вернулся наконец в родную ракетную бригаду, то встретил там племя младое, незнакомое, похожее на инопланетян и переходившее на двухлетний срок службы.

Укрывшись от суеты мира в пожарной центурии, Стропило вывесил на своём продавленном ложе табличку «по тревоге не кантовать, выносить вместе с койкой» и перешел на положение ветерана.

Так он дожил до Пришествия Дембеля нашего, посетившего сию обитель в 1969 году, но кроме тех, кого он непосредственно посетил, никем не замеченного. Как это и бывает всегда с явлением Божьим.

В пожарной центурии Стропило непрерывно писал. Что Бог на душу положит. Но душа была каменной.

Здесь кончается сага о Вовке, пусть будет ему земля натёртым до блеска котových яиц паркетом.

¹³ dělat mrtvého brouka (чешск.) – т. е. играть роль совершенно постороннего, ни к чему не причастной дохлой рыбы.

IV. Скрибер

*...Тристан рыдает
В расщелине у драгоценных плит:
«О, для того-ль Изольды сердце
Лежало на моей груди,
Чтобы она...»*

*И смолкло все. Как лепка рук умелых, Тристан в
расщелине лежит...*

Поэт кричит, окаменев.

**Вагинов. Отшельники
1924**

*Ну, где он, Тристан? – Прах.
Изольды костяк? – Пыль.
Героя несёт в гитанах
Больной мочевой пузырь.*

*Сизиф? – Тот ещё жив.
За камнем пошёл вниз
Творить свой дурацкий миф.
Т.е. чей-то каприз.*

**Стропило. Грядущего лик – дик
1970**

Дитя

Поэт – дитя и ему нужна похвала взрослых.

Конечно, поэта можно не только гладить по голове, но и бить по ней. Но, что бы там ни было, поэту необходимо внимание, – а в какой форме, хвалы или хулы, это уже не важно.

«Взрослый» для поэта – это любой, кто читает его стихи. И поэт ждет, когда «взрослый» кончит читать и что-нибудь скажет. Или, еще лучше, напишет.

Так Мандельштам ждал слов Сальери-Рудакова и тот снисходил, и то ругал, то похваливал.

Так Мандельштам наскокивал на дирижера Лео Морицевича Гинзбурга, читая ему стихи и крича: «Так? да? да? да. Так? Вы правы. Так?», а дирижер не знал, что ответить и «жался», заикаясь.

За 8 лет существования в Клубе-81 я удостоился похвал сразу трёх мэтров самиздата и помню их до сего дня. Вот они, согласно расположению мэтров в алфавитном порядке:

Драгомощенко: «Эти стихи защищены!» (о книге стихов «ниже уровня воздуха»)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.